



JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

ISSUE 3 | 2020

ISSN: 2500-0225

18+

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный электронный журнал

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

Том 5, №3 (19)



2020

ISSN: 2500-0225

18+

JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

Scientific E-Journal

www.jfs.today
www.frontierstudies.com

Vol. 5, №3 (19)



2020

Сетевое издание Журнал фронтальных исследований (Journal of Frontier Studies) является периодическим научным изданием, не имеющим печатной формы, и выпускается с 2016 года. В сетевом издании публикуются научные статьи, рецензии, информационные ресурсы, отчеты об экспедициях, конференциях и прочие научные материалы.

Сетевое издание включено в Web of Science Core Collection (ESCI)
--

Решением президиума ВАК РФ это сетевое издание было включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию на 26.12.2019 года) по следующим специальностям:

07.00.02 – Отечественная история (исторические науки);
--

07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода) (исторические науки);
--

24.00.01 – Теория и история культуры (исторические науки);
--

Мы выходим ежеквартально 4 раза в год.

Рабочими языками сетевого издания являются русский и английский

Сетевое издание посвящено актуальным вопросам в сфере исследований фронтальной теории, пограничья и приграничья, проблем межкультурной коммуникации в контактных зонах, а также вопросам функционирования фронтальных тропов в современной массовой культуре.

Цель проекта: Создание виртуальной площадки для обмена мнениями и дискуссий в области фронтальной теории.

Исходя из цели, мы стремимся к тому, чтобы наше сетевое издание выполняло важные научные функции – коммуникативную и информационную, которые позволят не только аккумулировать новые до-

стижения в этой области, но и послужат основой для новых открытий и озарений.

Сетевое издание выступает с позиций принципов диалога культур и устранение условий для конфликта цивилизаций. Оно придерживается принципов философии ненасилия, культурной и религиозной толерантности. Редакция преследует цель устранения языковых барьеров и уважительного отношения к границам национальной культуры каждого народа, проживающего на маленькой планете Земля.

Основные отрасли наук, в рамках которых могут быть опубликованы материалы в данном издании, это:

07.00.00 – Исторические науки;

24.00.00 – Теория и история культуры.

09.00.00 – Философские науки;

10.01.00 – Литературоведение.

Но это совсем не означает, что статьи и иные материалы авторов, написанные в других отраслях науки, будут категорически отвергнуты. Мы приветствуем статьи по проблемам фронта, написанные с позиции самых разнообразных наук или на стыке нескольких наук, так как такой подход, по нашему мнению, может оказаться наиболее действенным и позволяющим взглянуть на известные проблемы под новым углом.

Все материалы, поступающие в редакцию, проходят тщательный отбор и отправляются на двойное слепое рецензирование. Поэтому любая антинаучная и не подкрепленная фактологически статья будет отклонена редакторами. Мы не публикуем работы, в которых высказывается неуважительное отношение к другим народам или имеются некорректные формулировки.

Все статьи публикуются в журнале бесплатно, но и гонорар авторам не выплачивается.

- Государственная регистрация в Роскомнадзоре: Свидетельство о регистрации СМИ (электронная версия): Эл № ФС77-61330 от 07 апреля 2015 г.
- ISSN: 2500-0225
- Опубликованные в журнале материалы предназначены для лиц старше 18 лет

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР EDITOR-IN-CHIEF

Сергей Николаевич Якушенков,
д.ист.н., профессор, профессор кафедры
Зарубежной истории и регионоведения,
ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет»,
Астрахань, Россия

Serguey N. Yakushenkov, Dr. Habilitatus
in History, Professor, Department of
Foreign History and Regional Studies,
Astrakhan State University, Astrakhan,
Russia

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА DEPUTY CHIEF EDITOR

Растям Туктарович Алиев, кандидат
исторических наук, ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
университет»

Rastyam T. Aliev, Ph.D. in History,
Astrakhan State University, Astrakhan,
Russia

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР SCIENCE EDITOR

Максим Валерьевич Кирчанов,
д.ист.н., доцент, ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
университет», Россия

Maksim V. Kirchanov, Dr. Habilitatus in
History, Associate Professor, Voronezh
State University, Russia

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ EDITORIAL BOARD

Анна Петровна Романова, д.филол.н.,
профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет», Россия

Anna P. Romanova, Dr. Habilitatus in
Philosophy, Professor, Astrakhan State
University, Russia

Элина Алиевна Саракаева,
к.филол.н., Хайнаньский
профессиональный колледж экономики
и бизнеса Хайкоу, Китай

Elina A. Sarakaea, Ph.D., Hainan
College of Economics and Business,
China

Наталья Сергеевна Канатьева,
к.биол.н., доцент, ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
университет», Россия

Natalia S. Kanateva, PhD, Associate
Professor, Astrakhan State University,
Russia

Эмилия Анваровна Тайсина,
д.филол.н., профессор, ФГБОУ ВО
«Казанский государственный
энергетический университет», Россия

Emilia A. Taysina, дDr. Habilitatus in
Philosophy, Professor, Kazan State Power
Engineering University, Russia

Michael Khodarkovsky, Ph.D. in
History, professor of Loyola University
Chicago, USA

Michael Khodarkovsky, Ph.D. in
History, professor of Loyola University
Chicago, USA

Isabeau Vollhardt, B.A.
Philosophy/English University of
Washington, USA

Isabeau Vollhardt, B.A.
Philosophy/English University of
Washington, USA

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ EDITORIAL COUNCIL

Сергей Николаевич Якушенков,
д.ист.н., профессор, ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
университет», Россия

Serguey N. Yakushenkov, Dr. Habilitatus
in History, Professor, Astrakhan State
University, Astrakhan, Russia

Растям Туктарович Алиев, к.ист.н.,
ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет», Россия

Rastyam T. Aliev, Ph.D. in History,
Astrakhan State University, Astrakhan,
Russia

Елена Васильевна Морозова,
д.филос.н., профессор, ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
университет», Россия

Elena V. Morozova, Dr. Habilitatus in
Philosophy, Professor, Kuban State
University, Russia

Мария Михайловна Федорова,
д.полит.н., Институт философии РАН,
Россия

Maria M. Fyodorova, Dr. Habilitatus in
Political Sciences, Russian Academy of
Sciences, Russia

Андрей Вальтерович Гринев, д.ист.н.,
профессор, Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет Петра Великого (СПбПУ),
Россия

Andrey V. Grinev, Dr. Habilitatus in
History, Professor, St. Petersburg State
Polytechnic University of Peter the Great
(SPbPU), Russia

Максим Валерьевич Кирчанов,
д.ист.н., доцент, ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
университет», Россия

Maksim V. Kirchanov, Dr. Habilitatus in
History, Associate Professor, Voronezh
State University, Russia

Сергей Вадимович Виноградов,
д.ист.н., ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет», Россия

Serguey V. Vinogradov, Dr. Habilitatus
in History, Professor, Astrakhan State
University, Russia

Елена Евгеньевна Завьялова,
д.филол.н., ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет», Россия

Elena E. Zavyalova, Dr. Habilitatus in
Philology, Astrakhan State University,
Russia

Марина Ченгаровна Ларионова,
д.филол.н., ФГБУН "Федеральный
исследовательский центр Южный
научный центр Российской академии
наук" (ЮНЦ РАН), Южный
федеральный университет (ЮФУ),
Россия

Marina Ch. Larionova, Dr. Habilitatus in
Philology, Federal State Budgetary
Institution of Science "Federal Research
Centre the Southern Scientific Centre of
the Russian Academy of Sciences",
Southern Federal University, Russia

Надежда Евгеньевна Тропкина,
д.филол.н., ФГБОУ ВО Волгоградский
государственный социально-
педагогический университет, Россия

Nadezhda Ye. Tropkina, Dr. Habilitatus
in Philology, Volgograd State Pedagogical
University, Russia

Людмила Васильевна Буркина,
к.ист.н., ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет», Россия

Lyudmila V. Burykina, Ph.D. in History,
Adygea State University, Russia

Сергей Александрович Троицкий,
к.филол.н., РГПУ им. А.И. Герцена,
Центр изучения зон культурного
отчуждения и пограничья
Социологического института РАН -
Филиала ФНИСЦ РАН, РАН, Россия

Sergey A. Troitskiy, Ph.D., in Philosophy,
Herzen Russian StatePedagogical
University, Research Center for Cultural
Exclusion and Frontier Zones,
Sociological Institute, RAS, Russia

Michael Khodarkovsky, Ph.D. in
History, professor of Loyola University
Chicago, USA

Michael Khodarkovsky, Ph.D. in
History, professor of Loyola University
Chicago, USA

Matthew P. Romaniello, Ph.D. in
History, professor of Weber State
University, USA

Matthew P. Romaniello, Ph.D. in
History, professor of Weber State
University, USA

Robert P. Geraci, Ph.D. in History,
professor of University of Virginia, USA

Robert P. Geraci, Ph.D. in History,
professor of University of Virginia, USA

Willard Sunderland, Ph.D. in History,
professor of University of Cincinnati,
USA

Willard Sunderland, Ph.D. in History,
professor of University of Cincinnati,
USA

Nathan Hopson, Ph.D. in History,
professor of Nagoya University, Japan

Nathan Hopson, Ph.D. in History,
professor of Nagoya University, Japan

Piotr Gorecki, Ph.D. in History, professor
of University of California, Riverside,
USA

Piotr Gorecki, Ph.D. in History, professor
of University of California, Riverside,
USA

Andrei Znamenski, Ph.D. in History,
professor of The University of Memphis,
USA

Andrei Znamenski, Ph.D. in History,
professor of The University of Memphis,
USA

Dittmar Schorkowitz, Ph.D. in History,
professor, Max Planck Institute for Social
Anthropology, Germany

Dittmar Schorkowitz, Ph.D. in History,
professor, Max Planck Institute for Social
Anthropology, Germany

ВЕРСТКА

Юрий Дмитриевич Гончаренко,
Журнал Фронтирных
Исследований, Россия

TYPESETTER

Yuriy D. Goncharenko,
Journal of Frontier
Studies, Russia

КОНТАКТЫ:

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Генезис.Фронтир.Наука»

Адрес редакции: 414050, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Геологов, д. 85, кв.2

Главный редактор:
Сергей Николаевич Якушенков
Email: editorialboard.jsf@gmail.com

Дирекция журнала:
Растям Туктарович Алиев
Email: rastaliev@gmail.com

Мнение редколлегии журнала может не совпадать с мнением авторов.
--

ФРОНТИР, ИДЕНТИЧНОСТЬ И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ

- 12 Галиндабаева Вера Валериевна**
Образы Екатерины II в постсоветском Татарстане: эби патша, Великая Императрица и проданная Аляска
- 32 Головнева Елена Валентиновна, Мартишина Наталья Ивановна**
Культурный ландшафт как объект художественного конструирования: Сахалин А. П. Чехова и И. Н. Краснова
- 51 Шахназарян Нона Робертовна**
«В России мы мусульмане, в Турции гявуры»: ситуативные идентичности армяно-язычных хемшилов-мусульман
- 72 Кирчанов Максим Валерьевич**
Кавказские пленники, или как грузинские интеллектуалы изобретают традиции и (вос)производят смыслы

ФРОНТИР В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ

- 116 Обрушански Борбала**
Некоторые вопросы истории Бейди хуннов
- 136 Мысливски Гжегож**
Границы и люди в Польше с XII по XVI столетия: пример Мазовии. Перевод на русский

СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ ФРОНТИРНОЙ ТЕОРИИ

- 170 Кожуховская Юлия Витальевна**
Пороговость и двоичные божества как покровители древнего мореплавания. Обрядово-мифологический аспект

РАЗНОЕ

- 188 Александренков Эдуард Григорьевич, Воробьев Денис Валерьевич**
Восемь форумов отечественных индеанистов и американистов (1982 – 2018)

FRONTIERS, IDENTITY AND CULTURAL MEMORY

- 12 Vera V. Galindabaeva**
Images of Catherine the Second in the post-Soviet Tatarstan: Ebi Patsha, the Great Empress and Sold Alaska
- 32 Elena V. Golovneva & Natalia I. Martishina**
The Cultural Landscape as an Object of Artistic Constructing: Sakhalin of Anton Chekhov and Ivan Krasnov
- 51 Nona R. Shakhnazaryan**
‘In Russia We are Muslims, in Turkey Gyavurs’: Fluid Identities of the Armenian-Speaking Muslim Hemshils
- 72 Maksym W. Kyrchanoff**
Caucasian Prisoners, or How Georgian Intellectuals Invent Traditions and (re)Produce Meanings

FRONTIER IN THE WORLD CONTEXT

- 116 Borbála Obrusánszky**
Some questions on the Beidi Huns
- 136 Grzegorz Myśliwski**
Boundaries and Men in Poland from the Twelfth to the Sixteenth Century: The Case of Masovia. Translation into Russian

RELATED QUESTIONS OF FRONTIER THEORY

- 170 Iuliia V. Kozhukhovskaia**
Boundary Symbolism and Dual Deities as Patrons in Ancient Navigation. Aspects of Ritual and Mythology

MISCELLANEOUS

- 188 Edward G. Aleksandrenkov & Denis V. Vorobyev**
The American Studies in Russia: Eight Anthropological Forums (1982–2018)

**ФРОНТИР, ИДЕНТИЧНОСТЬ И
КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ**

**FRONTIERS, IDENTITY AND
CULTURAL MEMORY**

IMAGES OF CATHERINE THE SECOND IN THE POST-SOVIET TATARSTAN: EBI PATSHA, THE GREAT EMPRESS AND SOLD ALASKA

Vera V. Galindabaeva (a)

(a) Sociological Institute RAS – Branch of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Science. Saint-Petersburg, Russia. Email: vgalindabaeva[at]gmail.com

Abstract

Catherine II is the only ruler of the Russian Empire whose image is endowed with the most positive features in the public space of post-Soviet Tatarstan. The memory of her is fixed with the help of various commemorative forms: monuments, exhibitions, artworks, and performances are dedicated to her. Based on the analysis of expert interviews, popular science publications and articles in the media, we reconstruct the main versions of the history of the reign of Catherine II, which are promoted in the region. Based on interviews and mass polls, we show how the image of Catherine II is estimated and interpreted by ordinary residents of Tatarstan. The regional policy of memory represents the era of Catherine as the heyday that came after the era of decline, the fall of the Kazan Khanate. However, this time seems to be relatively favorable for the Tatars, because the Tatar people were deprived of the right to their statehood. The image of Catherine II in the mass representations of the inhabitants of Tatarstan is less controversial. Her activity is assessed unambiguously positively. The influence of communicative memory and the general Russian context lead to the fact that ordinary people consider significant events that are not in the discourse of the national movement.

Keywords

Tatarstan; historical memory; national history; memory policy; ideology; Catherine the Great



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ОБРАЗЫ ЕКАТЕРИНЫ II В ПОСТСОВЕТСКОМ ТАТАРСТАНЕ: ЭБИ ПАТША, ВЕЛИКАЯ ИМПЕРАТРИЦА И ПРОДАННАЯ АЛЯСКА

Галиндабаева Вера Валериевна (а)

(а) Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН. Санкт-Петербург, Россия.

Email: [vgalindabaeva\[at\]gmail.com](mailto:vgalindabaeva[at]gmail.com)

Аннотация

Екатерина II – это единственный правитель Российской империи, чей образ наделен наиболее положительными чертами в публичном пространстве постсоветского Татарстана. Память о ней закрепляется с помощью различных коммеморативных форм: ей посвящают памятники, экспозиции, художественные произведения, спектакли. На основе анализа экспертных интервью, научно-популярных изданий и статей в СМИ, мы реконструируем основные версии истории правления Екатерины II, которые продвигаются в регионе. На базе интервью и массового опроса показываем, как оценивается и интерпретируется образ Екатерины II обычными жителями Татарстана. Региональная политика памяти представляет эпоху Екатерины как время расцвета, которое наступило после упадка, падения Казанского ханства. Однако это время представляется как относительно благоприятное для татар, потому что татарский народ был лишен права на свою государственность. Образ Екатерины II в массовых представлениях жителей Татарстана менее противоречив. Её деятельность оценивается однозначно положительно. Влияние коммуникативной памяти и общего российского контекста приводят к тому, что обыватели считают значимыми события, которых нет в дискурсе национального движения.

Ключевые слова

Татарстан; историческая память; национальная история; политика памяти; идеология; Екатерина Великая



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ВВЕДЕНИЕ

Статья посвящена анализу конструирования исторической памяти о Екатерине Великой в современном Татарстане. Особое внимание уделяется сравнению версий истории, которые производятся разными агентами формирования памяти (журналистами, историками, писателями), с повседневными представлениями жителей Казани о Екатерине.

Дебаты, посвященные исторической памяти, стали особенно популярны в исследованиях идентичности и национализма на постсоветском пространстве. Достаточно много работ было посвящено теме конструирования элитами Татарстана национальной истории татарского народа и Татарстана (Rorlich, 1999; Исхаков, 1999; Davis et al. 2000; Shnirelman, 1996; Шнирельман, 2002; 2016; Zverev, 2002; Усманова, 2003; Овчинников, 2010).

Отдельные исследования посвящены изучению влияния татарских элит на массовые исторические представления жителей республики. Н.И. Карбаинов показывает, что существуют две основные позиции учёных по вопросу влияния татарских элит на повседневные представления жителей республики об истории своего края. Приверженцы первой позиции утверждают, что это влияние значительное, второй – что оно скромное. Сам автор придерживается второй точки зрения и на примерах образа Ивана Грозного, идеологемы 1552 года и других показывает, что версии истории, производимые татарской элитой, не востребованы и не известны на повседневном уровне. Оценка исторических событий, представленная в национальных версиях истории, не совпадает с той, которую дают обычные жители (Карбаинов, 2018а; Карбаинов, 2019а; Карбаинов, 2018б; Карбаинов, 2019б; Галиндабаева, 2019).

В данной статье будет рассмотрена ситуация, когда оценки исторической фигуры со стороны элиты и простых граждан наиболее близки. Екатерина II – это единственный правитель Российской империи, чей образ наделен наиболее положительными чертами в публичном пространстве Татарстана. Память о ней закрепляется с помощью различных коммеморативных форм: ей посвящают памятники, экспозиции, художественные произведения и т.д. Жители Казани, как будет показано далее, также очень позитивно оценивают её деятельность.

Необходимо установить, насколько этот консенсус можно объяснить влиянием региональной политики памяти, и насколько версии истории правления Екатерины Великой, выдвигаемые региональными элитами, совпадают с интерпретациями жителей Татарстана. Таким образом, задачи нашего исследования состоят в том, чтобы, во-



первых, проанализировать исторические дискурсы о периоде правления Екатерины II, которые транслируются через СМИ, учебники и научно-популярную литературу, и во-вторых, рассмотреть, как представлен этот же образ в массовых представлениях жителей Татарстана.

Рассмотрим методологические основы наших разысканий, опишем их эмпирическую базу.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Морис Хальбвакс показал, как национальные группы создают память о своем прошлом, которая представляет собственный образ, подчеркивает сходства членов группы и их отличия от других групп. Он ввел разделение между историей и коллективной памятью, утверждая, что история или историография производят достоверную картину происхождения и жизни группы. История существует вне социальной памяти, которая изменчива и подвержена искажениям (Хальбвакс, 2005). Ян Ассман выделяет две основные формы коллективной памяти: коммуникативную и культурную. Первая представляет собой исторический опыт в рамках биографических воспоминаний, возникающий в процессе социального взаимодействия и охватывающий 3–4 поколения, или 80–100 лет. Вторая конструируется и культивируется специалистами, фиксирующими определенные моменты в прошлом. Музеи, памятники, праздники, ритуалы – все это артефакты культуры, созданные с целью поддержания и воспроизводства исторических представлений внутри социальной группы (Ассман, 2004).

Отделение истории от коллективной памяти по принципу истинности позже было поставлено под сомнение другими авторами. Сегодня история рассматривается как одна из форм коллективной памяти (Зерубавель, 2011; Олик, 2012). Джеффри Олик рассматривает историю и историографию как часть ландшафта воспоминаний, который составляют также фестивали, юбилеи, монументы, руины, фотографии и т.п. Автор уделяет большое внимание агентам / институтам и средствам передачи памяти, формирующим этот ландшафт. Журналисты, политики, художники, писатели, аналитики, семьи, школы – все производят разные виды прошлого. Он приводит классификацию Питера Райхеля, который выделяет 4 типа способов передачи памяти: аффективные способы (фестивали, юбилеи), эстетико-экспрессивные (места памяти, руины, мемориалы), инструментально-когнитивные способы передачи памяти (история, историография) и политически-моральные (амнистия, репарации). Журналистику и средства массовой информации Олик рассматривает как один из важнейших способов воздей-

ствия на память в современном мире. В отличие от других средств передачи памяти, СМИ и в частности телевидение позволяют испытывать ощущение сопереживания опыта (Олик, 2012).

Историю и историографию в один ряд с другими формами коммеморации, с помощью которых в обществе закрепляется, сохраняется и передается память, ставит и Я. Зерубавель. Коллективная память склонна к изображению прошлого в черно-белых тонах, что приводит к нагнетанию контраста между разными историческими эпохами и формированию однозначного отношения к той или иной эпохе. Одни периоды рассматриваются как упадок, другие – как расцвет. Очень часто время, когда народ входил в состав империи, характеризуется негативно, так как рассматривается как лишение народа на реализацию права на государственность. В рамках общей повествовательной конструкции выделяются единичные события / эпизоды, которые презентуются как поворотные моменты, изменившие ход исторического развития общества. Эти события и отмечаются с особой торжественностью (Зерубавель, 2011).

Таким образом, коллективная память производится разными агентами / институтами и принимает разные формы. В данном исследовании мы рассматриваем основные версии истории правления Екатерины II, которые продвигает региональная элита с помощью таких средств, как учебники, статьи в СМИ, памятники, календарь памятных дат, музеев. Мы покажем, почему правление Екатерины II вписывается региональными экспертами в татарскую историческую идеологию как поворотная эпоха в развитии татарского народа.

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА

Исследование проводилось в 2014 году в рамках проекта «“Войны памяти” и “конвенции памяти” в постсоветском Татарстане: элитарные версии исторического прошлого и массовые представления» (Центр культурных исследований постсоциализма Казанского федерального университета при поддержке программы развития партнерских центров Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013–2014).

В базу проекта вошли 170 интервью с экспертами и простыми жителями Казани, а также подборки статей региональных СМИ, посвященных истории. Интервью проводились в соответствии с критериальной выборкой. Информанты делились на носителей элитарного знания и повседневного. В категорию экспертов, носителей элитарных версий истории относились историки, общественные активисты, деятели культуры, священники и т.д. В категорию носителей повседнев-



ных версий относились люди, не имеющие профессионального исторического образования, не занятые в общественно-политической деятельности, не участвующие в культурных организациях. Екатерина II упоминалась в 933 статьях следующих изданий: «Республика Татарстан», «Татар-информ», «Вечерняя Казань», «Звезда Поволжья», «Бизнес-онлайн». Первые два («Республика Татарстан», «Татар-информ») причисляются к официальным СМИ. Газеты «Вечерняя Казань», «Звезда Поволжья», «Бизнес-онлайн» – это относительно независимые издания. В базу исследования также вошли учебники и научно-популярные издания, посвященные истории Татарстана и татарского народа.

В анализе используются данные анкетного опроса жителей Казани (N = 1 000 респондентов). Поквартирный опрос проводился в 2014 году во всех районах города Казань. Количество опрошенных – 1 000 человек. В соответствии с распределением русских и татар в генеральной совокупности было опрошено 500 татар и 500 русских. Доля мужчин и женщин в выборке примерно совпадает с долей мужчин и женщин в генеральной совокупности: мужчин – 44,4 %, Женщин – 55,6 %. Минимальный возраст респондентов – 18 лет, максимальный – 89 лет. Средний возраст – 41,6 лет (ст. ошибка среднего – 0,51). Большинство опрошенных (71 %) относятся к категории людей, имеющих доход от 9 000 до 29 000 рублей. Ислам исповедуют 464 респондентов, православие – 442 респондента. Конфессиональная принадлежность сильно связана с национальностью респондента. Большинство татар исповедуют ислам, большинство русских – православие. Материалы анкетного опроса анализировались с помощью частотного распределения, таблиц сопряженности, критерия хи-квадрат.

Итак, на основе анализа таких средств передачи памяти, как экспертные интервью, научно-популярные издания и статьи в СМИ, мы покажем основные версии истории правления Екатерины II, которые продвигает региональная элита. На базе интервью и массового опроса станет понятно, как оценивается Екатерина II обычными жителями Татарстана.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПАМЯТИ

Умеренные татарские националисты с начала 1990-х гг. вырабатывают основные положения национальной идеологии Татарстана (в том числе национальной истории). Радикальные националисты конкурируют с умеренными, но не получают такой же поддержки со стороны элит (Мухаметдинов, 2006; Карбаинов 2018б). Основными агентами и институтами, производящими господствующую версию нацио-

нальной истории, являются Институт истории Академии наук Татарстана, К(П)ФУ и другие научные и учебные заведения, Министерство образования и науки РТ, издательства, музеи и т.д. (Гилязов, 2000; Усманова, 2003; Graney, 2009; Карбаинов 2018а). Карбаинов Н.И. выделяет следующие элементы, из которых состоит татарская историческая идеология: «1) балансирование между татарским этнонационализмом и гражданским национализмом («татарстанизмом»); 2) пантатаризм; 3) идея потерянной в 1552 году и вновь обретенной в 1990-е годы государственности; 4) исламоцентризм; 5) евразийство; 6) тюркизм» (Карбаинов, 2018а; Карбаинов, 2018в).

Результаты анализа эмпирического материала показывают, что образ Екатерины Великой привлекается историками, журналистами и краеведами чаще всего в рамках конструирования идеологем пантатаризма и исламоцентризма. Рассмотрим подробнее, какое значение приобретает образ Екатерины II в перечисленных дискурсах.

Имя Екатерины II всегда тесно связывается с историей присоединения Крымского ханства к Российской империи, последнего государственного образования этнографической группы татар, а именно – крымских татар. Вхождение Крыма в состав русского государства оценивается как положительное событие в истории татарского народа в рамках господствующего дискурса умеренных националистов. Например, Татар-информ, правительственное издание, с 1998 года и до событий 2014 года опубликовало 15 статей, посвященных истории основания Севастополя и Черноморского флота. Почти все эти статьи начинаются со следующей фразы: «Апрельским Указом Екатерины II в 1783 году крымский полуостров был взят под юрисдикцию Российской империи» (Татар-информ 21.02.2008). На первый взгляд кажется противоречивым, что это событие оценивается положительно, в то время как падение Казанского ханства, то есть потеря одного из государственных образований татар, представляется главной трагедией татарского народа. Необходимо вспомнить основные идеи пантатаризма, чтобы понять посыл: во-первых, татарский мир включает в себя не только Татарстан, но и другие территории, на которых проживают сибирские татары, крымские татары, литовско-польские и другие; во-вторых, именно Татарстан осмысливается как центр татарского мира (Карбаинов, 2018в). С этой точки зрения, важность завоевания Крыма объясняется тем, что «все группы татар были объединены в составе Российской Империи» (История Татар, 2014: 610).

Газета «Звезда Поволжья», представляющая радикальное течение национального татарского движения, публикует статьи, в которых представляют присоединение Крыма как трагедию. В 2014 году в свя-



зи с ситуацией вокруг Крыма авторы газеты вспоминают историю присоединения полуострова к Российской империи:

«Правда, есть попытки придать благоприятный оттенок трагедии завоеванию Крымского ханства при Екатерине II. Тогда якобы князь Потемкин умел договариваться с татарами. Действительно, умел договариваться, но не с народом, а с некоторыми людьми из числа элиты. В ходу были тогда подкупы, угрозы» (Тагиров, 2014).

Таким образом, мы наблюдаем существенную разницу между умеренными и радикальными националистами в интерпретации истории присоединения Крыма к Российской империи при Екатерине великой. Для радикальных националистов Екатерина II, уничтожившая последнее татарское государство, стоит в одном ряду с Иваном Грозным, завоевавшим Казанское ханство в 1552 году. Умеренные националисты рассматривают этот факт положительно, так как она объединила всех татар в рамках одного государства.

С точки зрения идеологемы исламоцентризма образ Екатерины II конструируется уже как антипод образа Ивана Грозного. Иван IV представлен как злодей, исторический враг татар, который не только лишил их государственности, но и положил начало насильственной христианизации. Роль ислама в истории Татарстана оценивается только позитивно, в отличие от негативных оценок православия (Карбаинов, 2019). Екатерину II часто называют эби-патша или бабушка-царица: «А императрица <...> так авторитетна среди татар, что ее до сих пор называют "эби патша". А ведь уже два с половиной века прошло с тех времен, когда царица разрешила строить мечети в Казани...» (Валеев, 2013). Период её правления рассматривается как «золотой век» татар в Российском государстве, потому что была закрыта новокрещенная контора, издан указ о веротерпимости и учреждено Оренбургское магометанское духовное собрание. Старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан Б.И. Измайлов, ответственный секретарь 5 тома Истории татар за XVIII век, озвучивает эту позицию так:

«...если остановимся на Золотом Веке, тут для себя лично как для исследователя я считаю "золотым веком" начало XIX века, то есть, конец XVIII и начало XIX века. Почему? Ну, во-первых, с эпохой Екатерины II появилась возможность у татар, они действительно были встроены собственно в Российскую империю как часть этого российского государства. То есть государство признало их как часть граждан. Они действительно стали гражданами не просто, как на протяжении первой половины XVIII века. Это в действительности были очень тяжелые периоды жизни для татарского народа: и ущемление их прав с точки зрения религии, христианизации

попытки были довольно серьезные. <...> Как раз с эпохи Екатерины II начинается такой момент, когда постепенно, встраивается, татарское общество в общероссийское, имперское. <...> Появились в большом количестве мечети, которые были построены, то есть, с этого момента и появляются и школы татарские – мектебе» (БТ-4).

В СМИ и научно-популярной литературе критически обсуждаются истинные причины изменения политики в отношении мусульман, несмотря на столь положительную оценку влияния деятельности Екатерины II на судьбу татар. Императрица изменила отношение к исламу не из добросердечного отношения к чужой вере, а из необходимости решать стратегические вопросы развития империи. Она стала использовать ислам для управления мусульманами:

«Екатерину II трудно заподозрить в симпатиях к мусульманской религии, ее высочайшее благоволение к ней – не более чем политика. Поняв, что упорных мусульман силой не отворотить от веры их отцов и дедов, власть решила действовать по-другому: управлять мусульманской частью своих подданных через специально созданный и полностью подконтрольный ей духовный орган. <...> С 1789 по 1917 год сменилось 6 муфтиев и 63 казья (мусульманских судей), все они назначались Высочайшим указом и были проверенными и верными престолу» (Миргазизов, 2002).

В учебниках мы также встречаем имя Екатерины в контексте исламоцентристского дискурса. Тема изменения отношения к исламу в российской империи одинаково подробно рассматривается в разных изданиях. В отличие от научно-популярной литературы и СМИ, в учебниках поднимается тема областных реформ времен Екатерины, в результате которых территория Казанской губернии изменилась. В целом этот сюжет соотносится с идеологемой потерянной в 1552 г. и обретенной в 1990-е гг. государственности, так как реформа негативно повлияла на территориальные границы обретенной государственности в рамках субъекта Российской Федерации.

В учебнике под редакцией В.И. Пискарева последствия реформы оцениваются больше в негативном ключе, так как граница проводилась не в соответствии с расселением этнических групп. В итоге «нерусские народы края были разобщены между различными губерниями». Здесь авторы подразумевают татар, которые попали, например, в Нижегородскую губернию (История 2001). Авторы учебника для ВУЗов, изданного под грифом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации, описывают областную реформу XVIII века как «раздел Татарстана между русскими губерниями» (Сабирова, Шарапов 2009). Градус негативной эмоциональной оценки реформы значительно повышен в этом описании, так как учебник под



авторством Д.К. Сабировой и Я.Ш. Шарапова написан в русле радикального татарского национализма.

Образ Екатерины, представленный в учебниках, научно-популярной литературе и СМИ, в целом положителен, но не лишен противоречий. Её называют эби патша (бабушка-царица), а её правление рассматривается как золотой век, возрождение татар в рамках российского государства. В то же время авторы недовольны тем, что Екатерина II использовала ислам в качестве инструмента управления и умирения татар, то есть проводила политику в интересах своего государства, а не в интересах благоденствия этой этнической группы. Оказывается, возрождение ислама – это побочный продукт имперской политики. Особенно ярко это противоречие в оценках деятельности императрицы проявляет себя в дискуссиях по вопросу установки памятного знака Екатерине II на противоположном от Старо-Татарской слободы берегу озера Кабан в Казани (Бадретдин, 2016; Бустанов, 2016).

Памятный знак императрице так и не установили, но в центре Казани уже есть посвященный ей артефакт. Бронзовая копия кареты Екатерины II украсила улицу Баумана в 2000 году. Деревянная карета, с которой снимали копию, находится в музее и является ценной частью экспозиции. Две эти кареты – деревянная и бронзовая – призваны увековечить в памяти населения города путешествие Екатерины в Казань и её положительную роль в судьбе жителей губернии. С 2000 по 2015 год этим повозкам было посвящено более 50 статей.

Карета Екатерины II представляется нам идеальным примером того, что Э. Хобсбаум называл изобретением традиций (Хобсбаум, 2000). Доподлинно известно, что экипаж, изготовленный во Франции в XVIII веке, архиепископ Павел передал летом 1889 года городской Думе. Тогда в XIX веке предположили, что эта карета могла принадлежать императрице. Однако документы, подтверждающие, что на этой карете Екатерина II передвигалась по Казани, до сих пор не найдены (Райхштат, 2017). Тем не менее, никто не отказывается от этой изобретенной в XIX веке памяти, ведь формулировка «карета времен Екатерины II» лишает экспонат значимости и привлекательности в глазах агентов, конструирующих исторические дискурсы.

Итак, образ Екатерины Великой стал неотъемлемой частью идеологием пантатризма и исламоцентризма в рамках региональной политики памяти в Татарстане. Возвращаясь к тезису Я. Зерубавель о том, что в национальной коллективной памяти всегда выделяются эпохи расцвета и падений, стоит отметить, что екатерининская эпоха представляет такой пример. Время правления императрицы рассматрива-

ется как самый благоприятный для татар исторический период после окончания Казанской войны. Далее рассмотрим, как Екатерину II оценивают обычные жители Казани.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В нарративах интервью с жителями Казани можно выделить несколько тем, в связи с которыми упоминается имя Екатерины II. Во-первых, время правления Екатерины Великой рассматривается, как «золотой век» татарской истории. Интерпретация событий этого периода соответствует версии, продвигаемой умеренными националистами:

«Я сейчас думаю, что выбрать в качестве «золотого века». Думаю, это период, когда Екатерина II легализовала ислам – и до революции. Потому что татарские общины пользовались автономией, это были мини-государства, скажем так, которые считали нормально, что ими правит русский царь, которого они называли "белым царем". Вот это "золотой век"» (БТ-6).

Однако понимание «золотого века» в повседневных представлениях не всегда соответствует официальному историческому дискурсу. Важную роль в интерпретации событий на повседневном уровне играет коммуникативная память, то есть исторические знания, которые мы получаем в общении со старшим поколением. В следующем нарративе видно, что екатерининская эпоха оценивается как экономически благоприятное время для развития татарского народа, а о религии нет и слова:

«Мне рассказывали такую вещь старики, что золотым веком, золотым временем называли екатерининскую эпоху, так как народ жил припеваючи, нам не надо было армию создавать, расходов лишних не было, работой и живи. И наша нация набирала большие обороты, появились свои богачи, капиталисты свои, меценаты, и можно было культуру свою развивать и все такое. То есть пока эта революция не нагринула» (БТ-15).

Во-вторых, имя Екатерины II часто звучит в ответе на вопрос «Великие люди в истории страны?». В следующем фрагменте интервью информант оценивает значимость правителей на основе их вклада в позитивное развитие страны:

«И: Какие великие правители в истории страны?»

Р: Пётр I – огромное количество реформ, европеизация, Екатерина II – уставная (имеется ввиду «Жалованная» – прим. авт.) грамота дворянству, Александр II отменил крепостное право» (БВ-14).



Важно отметить, что интервью, в котором информант обосновывает значимость Екатерины II через упоминание конкретных исторических событий, скорее исключение. В основном информанты имеют очень абстрактные представления о деятельности императрицы, но убеждены, что она была великим человеком:

«И: Какие выдающиеся личности есть? Прошлого? Кого выделишь? Образцовые или плохие?

Р: Во-первых, Екатерина II, и войны тогда тоже вроде не было. Или были...

И: Может, завоевывала?

Р: Или завоевала, самый такой мощный правитель, великий человек» (КПК-2).

Особое значение для некоторых информантов имеет то, что Екатерина II не вписывается в гендерные стереотипы того времени. Женщина не только эффективно управляла государством, но значительно расширила его территорию:

«...Екатерина II. Человек прибыл из Европы сюда, и не стала подчиняться и развязала войну с кем-то. Я почему-то всё время восхищался ей на уроках истории, вроде думал, хрупкая женщина достаточно, а сделала многое для России» (БВ-4).

В-третьих, самым неожиданным сюжетом, который появился сразу в нескольких интервью в связи с Екатериной II, стала продажа Аляски США. Известно, что император Александр II, правнук Екатерины, продал Аляску в 1867 году, однако, информанты настойчиво приписывают это деяние Екатерине II:

«И: А Екатерина II почему?

*Р: Ну, она по-моему как бы то, что, ну как сказать, много, не одна из, не первая женщина, но самая лучшая правительница как бы была, одна из лучших, то, что многие ей подчинялись, много она тоже, наверное, каких-то переломных событий провела, конечно, п***** [потеряла – прим. ред.] Аляску» (ВПМ-6).*

В другом интервью повторяется та же мысль:

«Я горжусь Петром I, Екатериной II Великой... Хоть у США и есть Аляска, богатая всеми этими ресурсами, но это маленькая Аляска, а не наша Сибирь. Горжусь личностями, хочется гордиться всеми победами в войнах, когда те же самые личности умудрились сохранить в России ценное и не дали ей распасться» (ВПМ-3).

Миф о продаже Аляски при Екатерине Великой появился благодаря популярной песне 90-х гг. «Не валяй дурака, Америка...» рос-

сийской группы «Любэ», в которой упоминается имя Екатерины II и продажа Аляски. Стоит отметить, что по данным опроса все же песни считаются наименее надежным источником исторических знаний.

Обратимся далее к анализу результатов массового опроса жителей Казани. Среди ответов на вопрос «Какие эпохи в истории Татарстана наиболее интересны для вас?» четвертое по популярности место занимает екатерининская эпоха (таб. 1). Заметим, что «время правления Екатерины II» – это самый интересный период истории Татарстана в составе российского государства. «Золотым веком» правление Екатерины II считают только 2,8 % респондентов.

Какие эпохи в истории Татарстана наиболее интересны для вас? (не более 3-х вариантов ответов)	Татары N = 500	Русские N = 500	Итого N = 1 000
Волжская Булгария	39,4 %	28,2 %	33,8 %
Казанское ханство	23,6 %	15,8 %	19,7 %
Золотая Орда	20,6 %	18,8 %	19,7 %
Время царствования Екатерины II	13,8 %	14,6 %	14,2 %
История Казанской губернии в XIX веке	12,0 %	13,2 %	12,6 %

Таблица 1. Наиболее интересные эпохи в истории Татарстана¹

Отвечая на вопрос, кто из выдающихся личностей сыграл наиболее значимую роль в истории нашей страны, 17 % указали Екатерину II. Она входит в тройку лидеров, если учитывать все ответы. Однако наблюдается разница между ответами татар и русских. Екатерина II занимает четвертое место среди выдающихся личностей для татар и третье место для русских (таб. 2).

Кто из выдающихся личностей, по вашему мнению, сыграл наиболее значимую роль в истории нашей страны?	Татары N = 500	Русские N = 500	Итого N = 1 000
Петр I	39,6 %	37,0 %	38,3 %
В.В. Путин	29,0 %	26,4 %	27,7 %
Екатерина II	15,6 %	18,4 %	17,0 %
А.С. Пушкин	16,2 %	16,8 %	16,5 %
И.В. Сталин	14,2 %	12,4 %	13,3 %
Ю.А. Гагарин	12,2 %	12,8 %	12,5 %
А.В. Суворов	8,6 %	15,2 %	11,8 %

Таблица 2. Выдающиеся личности, сыгравшие наиболее значимую роль в истории России

¹ Здесь и далее в таблицах представлены не все варианты ответов, которые присутствовали в анкете. Варианты ответов приводятся не том порядке, в котором они стояли в анкете, а с учётом их процентного соотношения.



Религиозная принадлежность респондентов, так же как и этническая, влияет на предпочтения в выборе выдающихся личностей. Влияние на историю Екатерины II отмечают 21,5 % православных и лишь 15,5 % мусульман.

Интересно, что на вопрос «Кто из выдающихся личностей, по вашему мнению, сыграл наиболее значимую роль в истории Татарстана?» только 6 % опрошенных отметили имя Екатерины Великой. При этом большее число респондентов отметили Ивана Грозного (10,4 %), Суюмбике (12,2 %), Чингисхан (13,9 %) и других. Между татарами и русскими практически нет разницы в оценке значения деятелей в истории Татарстана. Конфессиональная принадлежность дает больше различий, чем этническая. Православные чаще, чем мусульмане упоминают российских деятелей как лиц, сыгравших значительную роль в истории Татарстана – Александра II, Екатерину II и В.В. Путина.

Как вы оцениваете роль следующих личностей в истории Татарстана	Положительная	Незначительная	Отрицательная	Не знаю такую историческую личность	Затрудняюсь ответить
М.Ш. Шаймиев	77,7 %	9,3 %	1,8 %	0,2 %	11,0 %
Муса Джалиль	73,0 %	12,6 %	1,2 %	0,7 %	12,5 %
Габдулла Тукай	72,5 %	11,0 %	1,3 %	2,7 %	12,5 %
В.В. Путин	70,0 %	15,4 %	1,6 %	0,3 %	12,7 %
Екатерина II	57,8 %	20,4 %	4,7 %	0,9 %	16,2 %
Петр I	55,3 %	19,2 %	8,3 %	0,2 %	17,0 %
Суюмбике	51,4 %	25,7 %	2,4 %	1,7 %	18,8 %

Таблица 3. Оценка роли выдающихся личностей в истории Татарстана

Оценивая роль выдающихся личностей в истории Татарстана, 57,8 % респондентов рассматривают роль Екатерины II как положительную, 20,4 % – как незначительную, только 4,7 % – как отрицательную. Вариант ответа «Не знаю такую личность» – 0,9 % – показывает, что Екатерина II довольно известная историческая личность среди жителей Казани (таб. 3). Конфессиональная принадлежность не дает никаких различий в оценке деятельности Екатерины Великой, а вот влияние этнической принадлежности можно проследить в ответах респондентов. Так, среди оценивших деятельность императрицы в истории Татарстана как отрицательную только 36,2 % татар, а русских 63,8 %.

Среди ответов на вопрос, какими событиями в истории Татарстана вы гордитесь больше всего, 7 % респондентов выбрали «издание указа о веротерпимости Екатериной II». Победа в Великой отечественной войне (31,2 %), Универсиада в Казани (28,6 %) и основание Казани (22,3 %) возглавили список событий, которые вызывают чувство гордости.

По итогам анализа интервью и результатов массового опроса становится очевидным, что в рамках региональных дискурсов исторической памяти и массовых исторических представлениях деятельность Екатерины II оценивается одинаково положительно. Однако на этом совпадения заканчиваются. Жители Казани в целом не знают о конкретной деятельности Екатерины, о её влиянии на татар.

ВЫВОДЫ

Мы показали, что версии истории правления Екатерины Великой, выдвигаемые региональными элитами, далеко не во всем совпадают с интерпретациями жителей Татарстана. Региональная политика памяти, транслируемая через СМИ, учебники и научно-популярную литературу, представляет историю Татарстана как череду сменяющих друг друга эпох расцвета и падений. Время Екатерины представляется как относительно благоприятный для татар расцвет, который наступил после упадка, падения Казанского ханства. Основная критика сводится к тому, что татарский народ был лишен важного с точки зрения национального движения права на свою государственность.

Образ Екатерины II в массовых представлениях жителей Татарстана менее противоречив. Её деятельность, как в истории Татарстана, так и в истории России, оценивается однозначно положительно. Влияние коммуникативной памяти и общего российского контекста приводят к тому, что обыватели считают значимыми события, которых нет в дискурсе национального движения. Обыватели не воспроизводят дискурс о потерянной государственности. Так, вместо темы завоевания Екатериной Крыма, мы видим миф о продаже Аляски (которая на самом деле состоялась на 70 лет позже). Декларативно фольклор, песни, частушки считаются самыми ненадежными источниками исторических знаний среди респондентов, однако на деле влияние популярной культуры на массовое сознание достаточно значимо. Песни, как и кино, по замечанию Дж. Олика, вызывают сильные эмоциональные переживания, которые способствуют закреплению определенного отношения к истории.



СПИСОК ИНФОРМАНТОВ

- ВПИМ-3 – татарка, 22 года, высшее образование (интервьюер – Г.Н. Юсупова).
ВПИМ-6 – татарин, 32 года, среднее образование (интервьюер – К. Озерова).
БВ-4 – татарин, 19 лет, среднее образование (интервьюер – Е. Смирнова).
БВ-14 – татарка, 24 года, высшее образование (интервьюер – Е. Смирнова).
КПК-2 – татарин, 20 лет, неоконченное высшее образование (интервьюер – Е. Смирнова).
БТ-4 – Измайлов Бахтияр Искандерович, 30 лет, Татарстан (интервьюер – Р.С. Митрофанов).
БТ-6 – русский, крещён, 36 лет, высшее образование (интервьюер – Р.С. Митрофанов).
БТ-15 – болгар, 60 лет, среднее образование (интервьюер – В.А. Кутдусова).

Список литературы

- Davis, H., Hammond, P. & Nizamova, L. (2000). Media, Language Policy and Cultural Change in Tatarstan: Historic vs. Pragmatic Claims to Nationhood. *Nations and Nationalism*, 6 (2), 203–226.
- Graney, K. E. (2009). *Of Khans and Kremains: Tatarstan and the Future of Ethno-Federalism in Russia*. Lanham: Lexington Books.
- Rorlich, Azode-Ayse (1999). History, Collective Memory and Identity: the Tatars of Sovereign Tatarstan. *Communist and Post-Communist Studies*, 32 (4), 379–396.
- Shnirelman, V. (1996). *Who gets the past? Competition for ancestors among non-Russian intellectuals in Russia*. Washington D. C., Baltimore, L.: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press.
- Zverev, A. (2002). 'The Patience of a Nation is Measured in Centuries'. National Revival in Tatarstan and Historiography. In B. Coppieters and M. Huyseune (eds.), *Secession, History and the Social Sciences* (pp. 69–87). Brussels: VUB Brussels University Press.
- Ассман, Я. (2004). *Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности*. М.: Языки славянской культуры.
- Бадретдин, Г., Муртазин, А. & Мухаметрахимов, А. (2016, апрель 19). Царская честь: поставят ли татары памятник Эби патше на Кабане? *Сайт Деловая электронная газета «Бизнес Online»*. Retrieved from: <https://www.business-gazeta.ru/article/308224>
- Баязитов, И. (2013, февраль 07). Мусульмане в России. *Независимая общественно-политическая газета «Звезда Поволжья»*. Retrieved from: <https://zvezdapovolzhya.ru/obshestvo/musulmane-v-rossii-07-02-2013.html>
- Бустанов, А. (2016, апрель 04). «Образ Екатерины II и идея с "возрождением" являются результатом какого-то закулисного компромисса». *Интернет-*

газета «Реальное время». Retrieved from:
<https://realnoevremya.ru/articles/29225> 20.04.2016

- Валеев, Р. (n.d.). «Трудно изжить "рабское" мышление советского журналиста». *Деловая электронная газета «Бизнес Online»*. Retrieved from:
<https://www.business-gazeta.ru/article/77749>
- Карбаинов, Н. И. (2018а). Идеологема 1552 года в постсоветском Татарстане: версия элит и массовые представления. *Власть и элиты*, (5), 211–237.
- Карбаинов, Н. И. (2018б). Образы истории «тюркской цивилизации» в постсоветском Татарстане: элитарные версии и массовые представления. *Журнал социологии и социальной антропологии*, 21(2), 45–74.
- Карбаинов, Н. И. (2018в). Образы революционных событий 1917–1920-х гг. в постсоветском Татарстане: версии элит и массовые представления. *Петербургская социология сегодня*, (10), 77–98.
- Карбаинов, Н. И. (2019а). Образ Ивана Грозного в постсоветском Татарстане: версии элит и массовые представления. *Журнал фронтирных исследований*, (4.2), 363–389.
- Карбаинов, Н. И. (2019б). Образы истории Волжской Булгарии в постсоветском Татарстане: версия элит и массовые представления. *Власть и элиты*, 6 (2), 107–133.
- Миргазизов, Р. (2002, март 21). Багаутдина Ваисов: «Служим Аллаху, а не царю». *Общественно-политическая газета «Республика Татарстан»*. Retrieved from: <http://rt-online.ru/p-rubr-kult-33480/>
- Мухаметдинов, Р. Ф. (2006). *Идейно-политические течения в постсоветском Татарстане (1991–2006 гг.) (сопоставление с опытом Турции)*. Казань: Тамга.
- Нарыкова, Н. (2008, февраль 21). Сегодня – Международный день родного языка. *ИА «Татар-информ»*. Retrieved from: <http://www.pda.tatar-inform.ru/news/2008/02/21/98744/>
- Низамова, Л. Р. (2001). Медиа-продукт и «национальная» идеология: кейс-стади Всемирного конгресса татар. В С.А. Ерофеев, Л.Р. Низамова (ред.) *Постсоветская культурная трансформация: медиа и этничность в Татарстане* (стр. 166–233). Казань: Изд-во КГУ.
- Овчинников, А. В. (2010). Новый подход к изучению феномена современной «национальной историографии» (на примере «истории татарского народа»). *Вестник Удмуртского университета*, (1), 79–85.
- Олик, Дж. (2012). Фигурации памяти: процессо-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии. *Социологическое обозрение*, 11(1), 40–75.
- Райхшат, А. (2017, июнь 06). «1 день – 1 экспонат»: Екатерина II. *Казанский репортер*. Retrieved from: https://kazanreporter.ru/post/2368_1_den-_1_eksponat-_kareta_ekateriny_ii
- Сабирова, Д. К. & Шарапов, Я. Ш. (2009). *История Татарстана с древнейших времен до наших дней: учебник для студентов высших учебных заведений*. М.: Изд-во КноРус.



- Тагиров, И. (2014, март 18). Накаляются страсти. *Сайт независимой общественно-политической газеты «Звезда Поволжья»*. Retrieved from: <https://zvezdapovolzhya.ru/obshestvo/nakalyayutsya-strasti-28-02-2014.html>
- Усманова, Д. (2003). Создавая национальную историю татар: историографические и интеллектуальные дебаты на рубеже веков. *Ab Imperio*, (3), 337–360.
- Хакимов, Р. С. (ред.) (2014). *История татар с древнейших времен: в 7 томах. Том V: Татарский народ в составе Российского государства (вторая половина XVI–XVIII вв.* Казань: Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан.
- Хальбвакс, М. (2005). Коллективная и историческая память. *Неприкосновенный запас*, 40–41 (2–3), 8–27.
- Хобсбаум, Э. (2000). Изобретение традиций. *Вестник Евразии*, (1), 47–62.
- Шнирельман, В. (2002). Идентичность и образы предков: татары перед выбором. *Вестник Евразии*, (4), 128–147.

References

- Assman, J. (2004). *Cultural memory. Writing, memory of the past and political identity in the high cultures of antiquity*. M.: Languages of Slavic culture. (In Russian)
- Badretdin, G., Murtazin, A. & Mukhametrakhimov, A. (2016, April 19). Royal honor: will the Tatars erect a monument to Ebi patsha on the Boar? *The business electronic newspaper "Business Online"*. Retrieved from: <https://www.business-gazeta.ru/article/308224> (In Russian)
- Bayazitov, I. (2013, February 07). Muslims in Russia. *The independent socio-political newspaper "Volga Star"*. Retrieved from: <https://zvezdapovolzhya.ru/obshestvo/musulmane-v-rossii-07-02-2013.html> (In Russian)
- Busstanov, A. (2016, April 04). “The image of Catherine II and the idea of “rebirth” are the result of some kind of behind-the-scenes compromise. *Internet newspaper Realnoe Vremya*. Retrieved from: <https://realnoevremya.ru/articles/29225> 04/20/2016 (In Russian)
- Davis, H., Hammond, P. & Nizamova, L. (2000). Media, Language Policy and Cultural Change in Tatarstan: Historic vs. Pragmatic Claims to Nationhood. *Nations and Nationalism*, 6 (2), 203–226.
- Graney, K. E. (2009). *Of Khans and Kremlins: Tatarstan and the Future of Ethno-Federalism in Russia*. Lanham: Lexington Books.
- Hakimov, R. S. (Ed). (2014). *The history of the Tatars from ancient times in 7 volumes. Volume V The Tatar people as part of the Russian state (second half of the XVI–XVIII centuries*. Kazan: Shigabutdin Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. (In Russian)
- Halbwachs, M. (2005). Collective and historical memory. *Emergency stock*, 40–41(2–3), 8–27. (In Russian)

- Hobsbawm, E. (2000). Inventing tradition. *Bulletin of Eurasia*, (1), 47–62. (In Russian)
- Karbainov, N. I. (2018b). Images of the history of “Turkic civilization” in post-Soviet Tatarstan: elite versions and mass representations. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, 21(2), 45–74. (In Russian)
- Karbainov, N. I. (2018c). Images of revolutionary events of the 1917–1920^s in post-Soviet Tatarstan: versions of elites and mass representations. *Petersburg Sociology Today*, (10), 77–98. (In Russian)
- Karbainov, N. I. (2018a). The ideology of 1552 in post-Soviet Tatarstan: a version of the elites and mass representations. *Power and Elites*, (5), 211–237. (In Russian)
- Karbainov, N. I. (2019a). The image of Ivan the Terrible in post-Soviet Tatarstan: elitist version and mass representations. *Journal of Frontier Studies*, (4.2), 363–389. (In Russian)
- Karbainov, N. I. (2019b). Images of Volga Bulgaria’ history in post-Soviet Tatarstan: elite version and mass representations. *Power and Elites*, (6), 107–133. (In Russian)
- Mirgazizov, R. (2002, March 21). Bagautdina Vaisov: “We serve Allah, not the tsar.” *The socio-political newspaper “Republic of Tatarstan”*. Retrieved from: <http://rt-online.ru/p-rubr-kult-33480/> (In Russian)
- Mukhametdinov, R. F. (2006). *Ideological and political trends in postSoviet Tatarstan (1991–2006) (comparison with the experience of Turkey)*. Kazan: Tamga. (In Russian)
- Narykova, N. (2008, February 21). Today is International Mother Language Day. *IA “Tatar-inform”*. Retrieved from: <http://www.pda.tatar-inform.ru/news/2008/02/21/98744/> (In Russian)
- Nizamova, L. R. (2001). Media product and “national” ideology: case studies of the World Tatars Congress. In S.A. Erofeev, L.R. Nizamova (Ed.) *Post-Soviet Cultural Transformation: Media and Ethnicity in Tatarstan* (pp. 166–233). Kazan: KSU Publishing House. (In Russian)
- Olick, J. K. (2012). Figurations of memory: a process-relational methodology illustrated on the German case. *Sociological Review*, 11 (1), 40–75. (In Russian)
- Ovchinnikov, A. V. (2010). A new approach to the study of the phenomenon of modern “national historiography” (for example, “the history of the Tatar people”). *Bulletin of the Udmurt University*, (1), 79–85. (In Russian)
- Raikhshat, A. (2017, June 06). “1 day – 1 exhibit”: Catherine II. *Kazan reporter*. Retrieved from: https://kazanreporter.ru/post/2368_1_den_-_1_eksponat-_kareta_ekateriny_ii (In Russian)
- Rorlich Azode-Ayse (1999). History, Collective Memory and Identity: the Tatars of Sovereign Tatarstan. *Communist and Post-Communist Studies*, 32(4), 379–396.
- Sabirova, D. K. & Sharapov, J. S. (2009). *The history of Tatarstan from ancient times to the present day: a textbook for students of higher educational institutions*. M.: Publishing House KnoRus. (In Russian)



- Schnirelman, V. (2002). Identity and images of ancestors: Tatars before a choice. *Bulletin of Eurasia*, (4), 128–147. (In Russian)
- Shnirelman, V. (1996). *Who gets the past? Competition for ancestors among non-Russian intellectuals in Russia*. Washington D. C., Baltimore, L.: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press.
- Tagirov, I. (2014, March 18). Passions heat up. *The independent socio-political newspaper "Volga Star"*. Retrieved from: <https://zvezdapovolzhya.ru/obshestvo/nakalyayutsya-strasti-28-02-2014.html> (In Russian)
- Usmanova, D. (2003). Creating the national history of the Tatars: historiographic and intellectual debates at the turn of the century. *Ab Imperio*, (3), 337–360. (In Russian)
- Valeev, R. (n.d.). "It is difficult to get rid of the" slavish "thinking of a Soviet journalist." The business electronic newspaper "Business Online". Retrieved from: <https://www.business-gazeta.ru/article/77749> (In Russian)
- Zverev, A. (2002). 'The Patience of a Nation is Measured in Centuries'. National Revival in Tatarstan and Historiography. In B. Coppeters and M. Huyseune (eds.). *Secession, History and the Social Sciences* (pp. 69–87). Brussels: VUB Brussels University Press.

THE CULTURAL LANDSCAPE AS AN OBJECT OF ARTISTIC CONSTRUCTION: SAKHALIN OF ANTON CHEKHOV AND IVAN KRASNOV

Elena V. Golovneva (a), Natalia I. Martishina (b)

(a) Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin. Yekaterinburg, Russia.
 Email: golovneva.elena[at]gmail.com

(b) Siberian Transport University. Novosibirsk, Russia. Email: nmartishina[at]yandex.ru

Abstract

The article presents the complementarity of different types of cognition in the study of cultural landscape. The authors suppose that the primary formation of artistic and related mythological components of the cultural landscape of Sakhalin had an important impact on the image of the territory, fixing a certain value and meaning structure of the ideas about Sakhalin. As the materials by which the primary image of Sakhalin was formed, the authors examine the work by A. P. Chekhov's "Sakhalin Island", written as a result of the writer's visit to the island in the summer - autumn 1890, as well as a photographic album of I. N. Krasnov's "Types of Sakhalin Island", created at the turn of XIX-XX centuries, the images of which in this work are introduced into scientific circulation for the first time. The authors identified the basic ideas of the artistic image of Sakhalin, designated by A. P. Chekhov and supported by visual expression in the photographs by I. N. Krasnov: Sakhalin as an isolated area, getting on which has the character of a life catastrophe; the "otherness" of Sakhalin, its status as a place of initiation, a change of fate of its "prisoners" living in the border, liminal space; Sakhalin as a "wild country", where there is no transportation, no plans of development; there are no roads, and human settlements are constantly coming harsh nature; Sakhalin is a zone of "social vacuum", where social laws are no longer in force. According to the authors, changing the image of Sakhalin formed by artistic means requires not only strengthening of the scientific-rational component, but also the mandatory formation of alternative visual representations.

Keywords

Cultural landscape; frontier; theory of epistemological diversity; constructing of images; artistic constructing; "Sakhalin island"; a photographic album "Views of the island of Sakhalin"; Sakhalin; Anton Chekhov; Ivan Krasnov



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК ОБЪЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ: САХАЛИН А.П. ЧЕХОВА И И.Н. КРАСНОВА

Головнева Елена Валентиновна (а), Мартишина Наталья Ивановна (б)

(а) Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Екатеринбург, Россия. Email: [golovneva.elena\[at\]gmail.com](mailto:golovneva.elena[at]gmail.com)

(б) Сибирский государственный университет путей сообщения.
Новосибирск, Россия. Email: [nmartishina\[at\]yandex.ru](mailto:nmartishina[at]yandex.ru)

Аннотация

В статье показана взаимодополнительность различных видов познания при изучении культурного ландшафта. Авторы полагают, что первичное формирование художественного и связанного с ним мифологического компонентов культурного ландшафта Сахалина оказало важное влияние на образ территории, закрепив определенную ценностно-смысловую структуру представлений о Сахалине. В качестве материалов, посредством которых формировался первичный образ Сахалина, рассмотрено произведение А.П. Чехова «Остров Сахалин», написанное по итогам посещения острова писателем летом – осенью 1890 г. Анализируется также фотографический альбом И.Н. Краснова «Виды острова Сахалин», созданный на рубеже XIX–XX вв., материалы которого в данной работе впервые вводятся в научный оборот. Выделены базовые идеи художественного образа Сахалина, обозначенные А.П. Чеховым и поддержанные визуальным выражением в фотографиях И.Н. Краснова: Сахалин как изолированная территория, попадание на которую имеет характер жизненной катастрофы; «иномирность» Сахалина, его статус как места инициации, смены судьбы его «пленников», обитающих в пограничном, лиминальном пространстве; Сахалин как «дикая страна», где отсутствует транспорт, план освоения острова, нет дорог, и на человеческие поселения постоянно наступает суровая природа; Сахалин как зона «социального вакуума», где перестают действовать естественные законы. Сделан вывод о том, что изменение сформированного художественными средствами образа Сахалина требует не только усиления научно-рационального компонента, но и обязательного формирования альтернативных наглядно-визуальных репрезентаций.

Ключевые слова

Культурный ландшафт; фронтир; многообразие видов познания; конструирование образов; художественное конструирование; «Остров Сахалин»; фотографический альбом «Виды острова Сахалин»; Сахалин; А.П. Чехов; И.Н. Краснов



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ВВЕДЕНИЕ

Признание присутствия ценностно-смысловой составляющей в культурном ландшафте является одной из ключевых идей современного его определения. Отечественная традиция культурной географии, сформированная, в частности, Ю.А. Ведениным, М.Е. Кулешовой (2001), В. Л. Каганским (2001), трактует культурный ландшафт как результат утилитарного, семантического и символического освоения достаточно большим сообществом и полагает, что «духовные и интеллектуальные ценности, хранимые и передаваемые от одного поколения к другому в виде информации, не только определяют формирование и развитие культурного ландшафта, но и являются его частью, испытывают на себе воздействие других, материальных компонентов ландшафта» (Веденин & Кулешова, 2001, стр. 7). И. Саган отмечает, что естественные, природные условия создают основу для культурного ландшафта, а сам он представляет собой ценностно-символическую систему (Sagan, 2006, p. 11). Л. Роунтри и М. Конки характеризуют культурный ландшафт как «информацию, сохраненную в символической форме, ...которая отчасти функционирует как нарратив» (Rowntree & Conkey, 1980, p. 459).

Если культурный ландшафт рассматривается как пространство, создаваемое и формируемое символическим освоением и являющееся «отчасти нарративом», то одна из возможностей обогащения существующих подходов к изучению культурных ландшафтов связана с обращением к концепции многообразия видов познания. Данная концепция разрабатывается в социальной эпистемологии – одном из направлений современной философской теории познания и предполагает исследование конструирования образа объекта как наложения разнообразных дискурсов – обыденного, научного, мифологического, художественного и др. (Мартишина, 2016). С позиций социальной эпистемологии различные способы осмысления объекта не являются взаимозаменяемыми в полном объеме, но выполняют относительно самостоятельные функции в его репрезентации, дополняя друг друга. Именно потому, что каждый из них видит объект исследования в своем ракурсе и фиксирует некоторые его аспекты, не обнаруживаемые другими способами познания, различные формы дискурса не вытесняют друг друга; напротив, когда речь идет о сложных объектах, обладающих экзистенциальной значимостью (а именно к таковым, безусловно, относится территория как место проживания сообщества), плюрализация становится необходимой чертой формирующегося образа. Концепция многообразия видов познания подчеркивает, что раз-



нообразные дискурсы при этом создают *знание* и имеют свои специфические особенности.

Так, научное познание информативно и опирается на объективные сведения. Применительно к культурному ландшафту это массовые для проживающего на данной территории и внешних для нее сообществ, господствующие представления о ее географическом положении и природных объектах, ее рельефе и климате, историческом и текущем развитии территории, этнонациональном составе населения и т.д. Обыденное познание базируется на практиках повседневности, формируясь опытом организации труда и досуга, туристическими впечатлениями, медиаконструированием. Художественное познание аккумулирует знания в ярких, наглядных образах и максимально приспособлено для формирования эмоциональной и ценностной составляющей гносеологического образа. Мифологическое познание вносит в этот образ антропоморфность, персонифицирует объект, погружает его в систему однозначной каузальности и тем самым создает основу для возникновения и фиксации определенного личностного отношения к нему – заметим, невозможного на базе чисто объективистской его картины.

Далее мы постараемся показать, как первичное формирование художественного и мифологического компонентов культурного ландшафта Сахалина в литературе и фотографии конца XIX–начала XX вв. повлияло на образ территории, закрепив определенную ценностно-смысловую структуру представлений о нем, в итоге приобретшую относительную независимость от меняющейся социокультурной реальности.

В качестве материалов исследования, наиболее ярко, на наш взгляд, репрезентирующих идею формирования образа культурного ландшафта Сахалина, будут выступать произведение А.П. Чехова «Остров Сахалин», написанное по итогам посещения острова писателем летом – осенью 1890 г. (обращение к этому источнику сегодня выглядит особенно актуальным, учитывая то, что в 2020 г. исполняется 130 лет сахалинскому путешествию Чехова и 125 лет выходу его книги «Остров Сахалин»), и близкий к нему по времени создания фотографический альбом И.Н. Краснова «Виды острова Сахалин».

Если значение чеховского текста о Сахалине для конструирования в общественном сознании представлений о «каторжном» острове хорошо известно специалистам, то фотографический альбом И.Н. Краснова как одна из самых ранних фотографических репрезентаций Сахалина и как интересный исторический источник не знаком широкой общественности и тем более не осмыслен в контексте возможной

корреляции с художественными произведениями своей эпохи. В этой связи одной из задач данной работы будет являться введение в научный оборот и анализ малоизвестного визуального источника по изучению острова Сахалина – фотоальбома сахалинского художника Ивана Николаевича Краснова (1888–1906), который хранится в Александровском городском историко-литературном музее «А. П. Чехов и Сахалин» в г. Александровске-Сахалинском. В данной работе литературный и фотографический опыт изображения Сахалина рассматриваются как дополняющие друг друга способы исследования культурного ландшафта острова. Данные материалы, на наш взгляд, составляют репрезентативную эмпирическую базу для теоретического изучения формирования образа Сахалина, выявления механизмов его продуцирования и распространения, понимания культурного ландшафта Сахалина как сложного и комплексного явления.

«ОСТРОВ САХАЛИН» А.П. ЧЕХОВА: МИФОЛОГЕМЫ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА

Специфика формирования образа Сахалина как культурного ландшафта в массовом сознании российского общества состоит прежде всего в том, что оно было осуществлено практически одномоментно. В отличие от регионов центральной России, этот образ не опирается на длительную фольклорную традицию и постепенное обогащение исследовательскими данными. Первичная культурная репрезентация Сахалина определялась в первую очередь трудами путешественников – ученых, писателей, исследователей, журналистов – побывавших на Сахалине в конце XIX – начале XX вв. (А.П. Чехов, В.М. Дорошевич, Н.С. Лобас, П.Ю. Шмидт, Н.В. Слюнин, Н.Я. Новомбергский, К.Н. Тульчинский, Н.А. Панов, Б. Пилсудский, Л.Я. Штернберг и др.) и оставивших его описания (Галлямова, 2006). Среди этих трудов, бесспорно, беспрецедентной по силе воздействия на сознание общества стала публикация в 1893–1894 гг. книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».

Работа А.П. Чехова была ориентирована на научно-исследовательский и социально-политический дискурс. А.П. Чехов описал особенности географического положения острова, его природных зон, климата, рельефа, растительности и животного мира, основные географические пункты, транспортную инфраструктуру (точнее, во многих случаях, ее отсутствие), коренные народы острова («гиляков» и «айно»), историю российского освоения острова (включая взаимоотношения с Японией), состав населения и его основные демографические характеристики (результатом проведенной писателем пере-



писи стали около 10 тысяч заполненных карточек), организацию ка-торги, ссылки и поселения, уделив особое внимание анализу обозначившихся к тому времени ключевых социальных, юридических и нравственных проблем, общие проблемы колонизации отдаленной территории и возможные корректировки направления экономической деятельности на острове. Стиль книги подчеркнуто объективистский, с использованием огромного количества фактов и статистических данных. Современники отмечали, что «Чехов на этот раз мало описывает как художник», что его слог «сжат и холоден» (Сибирский вестник, 1893, стр. 3). Тем не менее, сила чеховского таланта А. П. Чехова была столь велика, что эмоционально-художественное воздействие текста оказалось огромным. Читатели не могли не ощущать, что в этой книге «за строгой формой и деловитостью тона, за множеством фактических и цифровых данных чувствуется опечаленное и негодующее сердце писателя» (Кони, 1959, стр. 346–347).

К характерным именно для художественного познания средствам отображения реальности, использованным А.П. Чеховым в книге «Остров Сахалин», могут быть отнесены:

– эмоционально нагруженные эпитеты и сравнения: «Все в дыму, как в аду» (Чехов, 2009, стр. 13), «Люди бродили, как тени, и молчали, как тени» (стр. 21), «Меховая одежда их и обувь имеют такой вид, точно они содраны только что с дохлой собаки» (стр. 103);

– эмоциональная интерпретация объективных фактов: «В году бывает с осадками в среднем 189: 107 со снегом и 82 с дождем... Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству» (стр. 57);

– отдельные, частные, но характерные детали в описаниях, работающие на общее впечатление: «Одного арестанта сопровождала пятилетняя девочка, его дочь, которая, когда он поднимался по трапу, держалась за его кандалы» (стр. 5);

– непосредственное соединение единичного и общего, выражение общего принципа через конкретные наглядные примеры: «Нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка... а главное, нет родины» (стр. 27);

– пейзажные зарисовки, выражающие определенное настроение: «С высокого берега смотрели вниз чахлые, больные деревья; здесь на открытом месте каждое из них в одиночку ведет жестокую борьбу с морозами и холодными ветрами, и каждому приходится осенью и зимой, в длинные страшные ночи, качаться неутомомно из стороны в сторону, гнуться до земли, жалобно скрипеть, – и никто не слышит этих жалоб» (стр. 63);

– контрастные описания, в которых позитивная часть оттеняет и тем самым усиливает противоположное настроение: «Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится; море раскидывается перед глазами, приходят мало-помалу мысли, не имеющие ничего общего ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни со ссыльною колонией, и тут только знаешь, как скучно и трудно живется внизу» (стр. 52).

На стыке художественного и мифологического познания находятся такие приемы построения текста, как антропоморфизация неодушевленных объектов («Ночью же он (*маяк – Е.Г., Н.М.*) ярко светит в потемках, и кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным глазом») (стр. 52) и природных объектов, которые «живут» в тех же суровых условиях, как и люди, и так же тоскуют («Высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: «Боже, для чего ты нас создал?»» (стр. 131); «Не только на людей, но даже на деревья смотришь с сожалением, что растут они именно здесь, а не в другом месте») (стр. 68); персонификация образа каторжника в судьбе отдельного человека и нарративный способ представления (фрагмент «Рассказ Егора»); гипертрофированные описания первозданной природы (папоротники и лопухи выше человеческого роста); зооморфизм («Мужик, мохнатый, как паук» (стр. 65), «По дороге встречаются бабы, которые укрылись от дождя большими листьями лопуха, как косянками, и от этого похожи на зеленых жуков» (стр. 66).

Значимыми достоинствами художественного способа познания являются способность к воздействию на все сферы личностного восприятия – как когнитивную, так и ценностно-эмоциональную, и высокий уровень долгосрочного сохранения, в силу использования не только рациональной, но эмоциональной памяти. Мифологическое познание обладает выраженной способностью к активному внедрению; его схемы, в силу архаичности, образуют базовую структуру мышления. Соединение научно-рационального и художественно-мифологического дискурса в произведении Чехова «Остров Сахалин» привело к формированию яркого, «силового» образа Сахалина как территории, закрепившего в массовом сознании определенный способ его *видения* на историческую перспективу. Образ «чеховского Сахалина» содержит и транслирует следующие смысловые акцентировки:

1) Сахалин – принципиально иная по сравнению с Россией территория, и все аспекты жизни, весь уклад, все привычные установления здесь перестают действовать. Эта идея возникает в книге буквально на первых страницах, еще при описании пути автора на Сахалин: «Но настроение духа, признаюсь, было невеселое и чем ближе к Сахалину, тем хуже. Я был беспокоен» (стр. 13), «Не говоря уже об оригиналь-



ной, не русской природе, мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны, наша история скучна и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами» (стр. 4); далее эта тема возобновляется на протяжении всего путешествия. Противопоставление своей территории «Расее» характерно и для населения Сибири XIX в., но там оно нередко проводится в пользу Сибири, где, по убеждению сибиряков, сохранены истинная религиозность и правильные жизненные устои; на Сахалине же отчуждение от России имеет вид тоски по утраченной родине и настоящей жизни;

2) Сахалин – остров: изолированная территория, попадание на которую имеет характер жизненной катастрофы, кораблекрушения, откуда крайне сложно выбраться во всех отношениях, но желание сделать это естественно и неистребимо (как у жертвы настоящего кораблекрушения). «Глядишь на тот берег, и кажется, что будь я каторжным, то бежал бы отсюда непременно, несмотря ни на что» (стр. 53);

3) Сахалин – дикая, неосвоенная территория, где не сформирована социокультурная структура. Нет общего плана освоения острова, места для поселений выбираются случайно и непродуманно, так же стихийно происходит их развитие, никто не оценивает, какое количество людей может принять тот или иной населенный пункт, планирование хозяйственной деятельности во многих случаях оказывается неудачным; нет транспорта, нет дорог – и со всех сторон к человеческим поселениям подступает суровая природа, скорее враждебная, чем благодатная («Про Сахалин же говорят, что климата тут нет, и что этот остров – самое ненастное место в России») (стр. 56);

4). Сахалин – «край света», «конец географии», где «не помнят дней недели, да и едва ли нужно помнить, так как здесь решительно все равно – среда сегодня или четверг...» (стр. 95). Строго говоря, это даже не фронтирная территория, т.к. идея фронта предполагает границу, за которой открываются новые земли; за Сахалином уже нечему открываться, это последняя достижимая территория, край Земли, за которым ничего нет.

5) Сахалин – территория каторги, ссылки, репрессивной пенитенциарной системы. Здесь большинство населения имеет преступное прошлое, здесь каторжники везде – они выполняют все виды физической работы, они ходят по улицам, носят по домам капусту и голубику, ими укомплектован штат прислуги, торговые предприятия, сельские поселения. Их психология, их речь, их мироотношение образуют социальную среду Сахалина. Здесь людей направляют на принуди-

тельные работы, наказывают, секут розгами и кнутом, «и звон кандалов слышится непрерывно» (стр. 19);

6) Сахалин – зона «социального вакуума», где аннулируются все прежние связи и отношения между людьми (например, брачные) и случайны, не закончены в своем определении новые. «Здесь естественные и экономические законы как бы уходят на задний план, уступая свое первенство... случайностям...» (стр. 85). Нет постоянных законов, нет единого жизненного уклада, нет прошлого и будущего, условия существования зависят от стечения случайных обстоятельств (например, от «теорий и произвола отдельных лиц» (стр. 37). Неразвитость, недостаточность социального пространства поддерживает и усиливает статус Сахалина как дикой территории, пространства вне культуры;

7) Возможно, Сахалин вообще не вполне принадлежит к сфере обычной жизни, а является частью какой-то другой, inferнальной реальности. В художественном мире А.П. Чехова не случайна ни одна подробность; и так же не случайно замечание по поводу одного из сахалинских видов: «Когда с мальчика, начитавшегося Майн-Рида, падает ночью одеяло, он зябнет, и тогда ему снится именно такое море. Это – кошмар» (стр. 82). Уродливое, искаженное сахалинское бытие, в котором привычно то, что уже немыслимо даже и в России – не такой ли и это страшный сон, ведь почти нельзя вообразить, чтобы люди действительно жили этой жизнью и мирились с ней?

Таким образом, переключаясь между собой и взаимно усиливая эмоциональное воздействие на читателя, смысловые акцентировки в произведении А.П. Чехова «Остров Сахалин» приобретают характер мифологем¹.

Далее мы постараемся продемонстрировать, что фотографические образы Сахалина, созданные примерно в этот же период сахалинским художником И.Н. Красновым, не только переключаются с художественными и мифологическими образами культурного ландшафта острова в чеховском тексте (Горницкая & Ларионова, 2013; Рагулина, 2012; Сахалин и Курильские острова, 2013), но и в определенной степени дополняют и усиливают формирование этого образа (за счет запечатления повседневной культуры острова) в сознании зрителей.

¹ Под мифологемой в данном случае понимается единица мифа, элементарная идея, заключающая в себе мифологическую логику мышления: однозначное, строго определенное представление некоторого фрагмента реальности, где непосредственно-наблюдаемое отождествляется с ценностно-символическим. Существенно, что, возникнув, мифологемы подчиняются собственным законам обращения в массовом сознании; так, они в очень малой степени подвержены коррекции с помощью рациональной критики, мифологема может быть окончательно вытеснена только иной мифологемой.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ И.Н. КРАСНОВА «ВИДЫ ОСТРОВА САХАЛИН»

В конце XIX–начале XX вв. Сахалин, наряду с другими отдаленными территориями Российской империи, становится объектом фотографических репрезентаций, что приводит к расширению богатой традиции литературных травелогов и способствует формированию особой «визуальной грамотности» относительно данной территории (Вишленкова, 2011; Cosgrove, 2008; Kivelson & Neuberger, 2008; Osborne, 2000). Благодаря фотоаппарату, природные ландшафты «окраинных» территорий, предметы их материальной культуры, человеческие образы становятся одним из важнейших средств запечатления и самопрезентации культуры (Сонтаг, 2013; Головнев, 2019; Головнева & Головнев, 2020). Фотографы и заказчики того времени старались копировать снимки в солидных издательствах и чаще всего в небольшом количестве экземпляров, оформляя их в шикарные альбомы, которые дарились, передавались по наследству и хранились в частных коллекциях. Известно, что сам А.П. Чехов стремился совместить свои описания Сахалина с визуальными, запечатленными на фотографиях, образами острова. Писатель мечтал о том, чтобы первое издание книги «Остров Сахалин» непременно вышло с иллюстрациями, и в письме к А.С. Суворину писал о том, что ему было бы приятно иллюстрировать свою книгу (Дунаева, 1977, стр. 263). На Сахалине А.П. Чехов познакомился с фотографом И.И. Павловским, который сделал для него фотографии Сахалина. Уникальный фотоматериал о Сахалине в конце XIX в. также был создан дальневосточным фотографом В.В. Ланиным, чьи снимки украшали самые значимые труды по истории и этнографии Дальнего Востока рубежа XIX–XX вв., включая двенадцатый том «Живописной России» по редакцией П.П. Семенова, сборник «Азиатская Россия», труд Ратцеля «Народоведение» из серии «Вся природа», выпущенный в 1910 г. (Юзефов, 2011)

Среди фотографических снимков Сахалина особое место принадлежит альбому «Виды острова Сахалин» И.Н. Краснова, который привлек наше внимание летом 2019 г. в процессе работы с визуальными материалами, отражающими образы фронтирных территорий Российской империи на рубеже XIX–XX вв. По свидетельству директора Историко-литературного музея «Чехов и Сахалин» Темура Мироманова, этот фотоальбом появился в музее в конце 1980-х гг. и был передан на хранение С.Е. Захаровым, проживавшем в Ленинграде. В свое время фотоколлекция с видами Сахалина была подарена И.Н. Красновым братьям С.Е. Захарова – также фотографам, жившим в то время в г. Александровск-Сахалинский. В архиве сохранилась записка С.Е.

Захарова сотрудникам музея: «Я, архитектор-художник Захаров Сергей Ефимович, родился 13 ноября 1900 года в городе Александровске-Сахалинском, где мой отец проходил военную службу в должности старшего писаря военного госпиталя погранвойск. Посылаю музею города Александровска-Сахалинского в дар альбом фотографий, сделанных замечательным местным фотографом И.Н. Красновым. В альбоме вся жизнь северной части острова. Есть и уникальные снимки, например, тот, на котором Соньку Золотую Ручку заковывают в кандалы (после последнего ограбления банка в городе Благовещенске). И поразительный снимок «Гибель катера “Князь Шаховской”». Снимок сделан с пристани. Альбом был подарен И.Н. Красновым моим старшим братьям. Передавался “из рода в род” и добрался до меня. Мною заканчивается род Захаровых. Буду очень рад, если альбом пополнит экспозицию вашего музея»².



Фотография 1. Пост Дуэ на острове Сахалин. Фотографии из альбома И.Н. Краснова «Виды острова Сахалин» (Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин» КП 10-24, И-Ф 106)

² Альбом И.Н. Краснова (передан Захаровым С.Е.) АИЛМ, КП 1024, И-Ф 106 на 47 л.



В настоящее время фотоальбом «Виды острова Сахалин», в силу требований специальных условий, находится в хранилище Историко-литературного музея «А.П. Чехов и Сахалин» и выставляется на всеобщее обозрение только несколько раз в году – в день рождения А.П. Чехова и в другие знаменательные даты. Фотоальбом состоит из 21 листа с 49 фотографиями. Многие снимки эксклюзивные, нигде до этого не публиковались и не выставлялись, а широкой публике стали доступны только после оцифровки и размещения на сайте музея.

Данный фотоальбом иллюстрирует природные объекты Сахалина, особенности его рельефа и климата, дает представление о развитии этой территории в конце XIX – начале XX вв., этнонациональном составе ее населения, включает сцены из жизни и учреждения городка Александровский пост, политических заключенных, а также каторжников в кандалах, занятых тяжелым трудом и т.д. Кроме этого, в коллекцию входят снимки, изображающие повседневную жизнь коренного народа нивхов (гиляков), населяющего северную часть острова, и русских поселенцев.

Фотографические снимки И.Н. Краснова – это инструмент описания, самостоятельный вид искусства, имеющий свои художественные особенности. На наш взгляд, анализ альбома «Виды острова Сахалин» в контексте заявленной ранее методологии, позволяет рассматривать имеющиеся в нем фотографии не просто как ценный исторический источник, во многих проявлениях запечатлевший повседневную жизнь острова, а как культурный конструкт, формирующийся на стыке мифологического, художественного и обыденного познания. В сопоставлении с чеховским текстом о Сахалине в интерпретации фотографических снимков альбома «Виды острова Сахалин» выявляются дополнительные смыслы.

Так, мифологема Сахалина, как изолированной территории, попадание на которую имеет характер жизненной катастрофы, кораблекрушения, наиболее ярко визуализируется в альбоме И.Н. Краснова фотографией «Гибель катера “Князь Шаховской”». Демонстрацией гибельности острова здесь является изображение перевернутого судна и непрерывный монотонный рев волн, подобный шуму мифологического ада. Крушение катера как будто знаменует собой отчаяние и безнадежность для свидетеля катастрофы, невозможность покинуть остров, по аналогии с чеховским наблюдением в «Острове Сахалин»: «Мертвые с погоста не возвращаются... Если каторжник бежит, то так про него и говорят: “Он пошел менять судьбу”» (Чехов, 2009, стр. 235).



Фотография 2. Гибель катера «Князь Шаховской». Фотографии из альбома И.Н. Краснова «Виды острова Сахалин» (Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин» КП 10-24, И-Ф 106)

Миф об острове как «особой» территории, одновременно открытой и изолированной от внешнего мира (Цивьян, 2008, стр. 152), находит отражение в общих панорамных снимках И.Н. Краснова «Вид поста Александровский с птичьего полета» и «Вид поста Александровский с восточной стороны». По мифологическому типу здесь представлена дифференциация пространства на «верх» и «низ»: наблюдая виды Сахалина сверху, зритель не замечает сложности жизненного мира острова, здесь, «наверху», по аналогии с замечанием А.П. Чехова, «приходят мало-помалу мысли ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой». Одновременно эти снимки передают условность островной экзистенции: территория Сахалина на них соотносится с прозрачностью, смутностью, эскизностью, будто «впереди чуть видна туманная полоса – каторжный остров» («Александровская пристань»).

Ощущение «иномирности» Сахалина, его статуса как места инициации, смены судьбы его «пленников», обитающих в пограничном, лиминальном пространстве, передается через фотоснимки И.Н. Краснова, в которых показаны особые группы персонажей – каторжники,



разбойники, изгнанники. Это фотографии «Михайловское психиатрическое отделение», «Работы каторжников», «Молебен на тюремном дворе», «Работы каторжников в сахалинской тайге», «Женщины-каторжанки на работе», «Группа каторжников», «Каторжники, прикованные к тачкам», в том числе фотографический снимок известной преступницы – Соньки Золотой Ручки, которая отбывала каторгу на Сахалине и которая стала своеобразным символом этого острова (Каторга. История Сахалина).

Репрезентацией мифологемы о том, что Сахалин – это «дикая страна», где отсутствует транспорт, план освоения острова, нет дорог и к человеческим поселениям близко подступает суровая природа, являются снимки «Езда на оленях на острове Сахалин», «Езда на собаках», а также фотографии сахалинских инородцев – гиляков, одетых в традиционную одежду. Коренное население острова, в соответствии с правилами мифологической логики, персонифицируются в образе гиляка Софрона. Эта фотография, с художественной точки зрения, – типичный пример фотоконвенции изображения коренных народов Сахалина, которые конструировались на раннем этапе развития искусства фотографии.

Характерно, что в фотоальбоме И.Н. Краснова средством преобразования неразвитости, недостаточности социального пространства Сахалина, превращения «чужого» в «свое» по мифологическому типу, является его религиозное «очищение». Фотограф как будто специально делает акцент на необходимости духовного перерождения каторжников, утверждения на острове «свободного и спокойного мира», изображая сцены молебнов («Молебен при закладке здания Экономического фонда», «Приезд архиерея», «Молебен на тюремном дворе», «Выход с тюремного двора», «Молебен при закладке общественного собрания», «Молебен в часовне»).

Несмотря на наличие в фотографических снимках И.Н. Краснова смысловых акцентов, относящихся к мифологическому и художественному познанию, запечатленные образы Сахалина – это виды и размерности повседневной культуры острова, формируемые опытом организации природного ландшафта, труда и досуга населяющих его жителей, тяготеющие к обыденному познанию («Приезд военного министра в порт Александровский», «Пленные китайцы в порту Александровском», «Господин Маев – управляющий рудниками острова Сахалин»). В фотоальбоме «Виды острова Сахалин» мы можем увидеть типичные области общественной жизни Сахалина. Фотограф И.Н. Краснов показывает окружающую человека среду, как природную (тип природного ландшафта, погодные условия), так и искус-

ственную, созданную человеком (тип поселения, расположение улиц, транспортные средства) («Поселок Красный Яр на острове Сахалин», «Пост Дуэ на острове Сахалин», «Рельсовая улица в посту Александровском», «Базарная площадь», «Приход зимней почты»). На фоне распространения мифологем о Сахалине как неприглядной штрафной колонии с тюрьмами, палочной дисциплиной и депрессивным настроением ее обитателей, фотографии И.Н. Краснова – демонстрация создания дорог и поселений, возведения общественных сооружений на острове и его хозяйственного освоения. Предназначение этих изображений – фиксация повседневной реальности с целью сохранить их для будущего. Фотография в этом случае является визуальным воплощением социального развития и ускорения жизни (Гурьева, 2009, стр. 154) и отражает обыденный способ ее восприятия.

ВЫВОДЫ

Таким образом, первое широкое знакомство российского общества с Сахалином как особым социокультурным пространством состоялось благодаря публикации путевых очерков А. П. Чехова, и акцентировки складывающегося в российской культуре образа Сахалина носили авторский характер и поддерживались всей силой чеховского таланта. Перекликаясь с ярким мифологическим и литературно-художественным образом Сахалина, фотоальбом И.Н. Краснова делает этот образ более рельефным и многогранным, дополняя его ключевые идеи визуальным рядом и тем самым его усиливая. Фотографическая коллекция здесь служит «живой иллюстрацией всего, что до сих пор не известно об острове», она «дает возможность каждому прибывающему на остров ознакомиться и изучить природу острова, его естественные богатства и быт населения, как пришлого (русского), так и туземного (аборигенов)» (Дударец, 2013, стр. 57).

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что базовый образ Сахалина был создан в сознании российского общества в основном в рамках художественного познания, смыкавшегося также с мифологическим. Ключевые идеи первоначально сложившегося представления о Сахалине – «конец света», «дикий край», «место ссылки», «социальный вакуум» – сохраняются и воспроизводятся в массовом сознании вплоть до настоящего времени и уже существенно расходятся с реалиями современного Сахалина. Исследование истоков образа позволяет заключить, что возможности коррекции стереотипов массового сознания относительно Сахалина связаны не только с целенаправленной трансляцией соответствующих научно-рациональных и идеологических тезисов в социальной риторике, но и с обязательным усилением



как можно более яркой и наглядной визуальной составляющей в его репрезентации.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект No 18-59-23007 «Опыты изучения и визуальной репрезентации фронтирных территорий России и СССР в визуальной антропологии первой половины XX века: на примере исследований российских и венгерских ученых и кинематографистов»

Список литературы

- Cosgrove, D. (2008). *Geography and Vision: Seeing, Imagining, and Representing the World*. London: Bloomsbury Publishing.
- Kivelson, V. & Neuberger, J. (2008). *Picturing Russia: Explorations in Visual Culture*. New Haven: Yale University Press.
- Osborne, P. D. (2000). *Travelling Light: Photography, Travel, and Visual Culture*. Manchester: Manchester University Press.
- Rowntree, L. B. & Conkey, M. W. (1980). Symbolism and cultural landscape. *Annals of the Association of American Geographers*, 70(4), 459–474.
- Sagan, I. (2006). Contemporary Regional Studies: theory, methodology and practice. *Regional and local studies*, (5), 5–19.
- Веденин, Ю. А. & Кулешова, М. Е. (2001). Культурный ландшафт как объект культурного и природного наследия. *Известия РАН. Серия География*, (1), 7–14.
- Вишленкова, Е. А. (2011). *Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»*. Москва: Новое литературное обозрение.
- Галлямова, Л. И. (2006). Освоение Сахалина в оценке российских исследователей второй половины XIX-начала XX в. *Вестник ДВО РАН*, (3), 156–162.
- Головнев, И. А. (2019). Образы Камчатки в творчестве Бенедикта Дыбовского. *Гуманитарные науки в Сибири*, 26(3), 12–17.
- Головнева, Е. & Головнев, И. (2020). Фотофиксация Дальнего Востока в деятельности Владимира Арсеньева: «репертуар образов». *Quaestio Rossica*, 8(3), 1023–1036.
- Горницкая, Л. И. & Ларионова, М. Ч. (2013). *Место, которого нет... Острова в русской литературе*. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН.
- Гурьева, М. М. (2009). Повседневная фотография как объект научного исследования. *Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина*, 2(3), 153–161.
- Дударец, И. Г. (2013). Исторические портреты («Иконы старого Сахалина»). *Вестник Сахалинского музея*, (20), 52–65.

- Дунаева, Е. Н. (1977). К истории работы над книгой «Остров Сахалин». *Литературное наследство*, (87), 263–300.
- Иконникова, Е. А. & Степаненко, А. А. (Ред.). (2013). *Сахалин и Курильские острова в литературе и периодической печати: сборник научных статей*. Южно-Сахалинск : изд-во СахГУ.
- Каганский, В. Л. (2001). *Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство: Сборник статей*. Москва: Новое литературное обозрение.
- Каторга. История Сахалина (n.d.). Retrieved from <https://www.sites.google.com/site/istorianevelsk/katorga>
- Кони, А. Ф. (1959). А. П. Чехов. В А. Ф. Кони, *Избранные произведения*. Т. 2. (стр. 340–348). Москва: Госюриздат.
- Мартишина, Н. И. (2016). Концепция многообразия видов познания: о некоторых следствиях парадигмы. *Вестник ОмГПУ: Гуманитарные исследования*, 1(10), 21–24.
- Рагулина, М. В. (2012). Морфологические исследования культурного ландшафта: интегральный взгляд. *Общество. Среда. Развитие (Terra Humana)*, (3), 204–209.
- Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни* (1893). Томск, (138) Retrieved from <http://sun.tsu.ru/mminfo/000349027/index.html>
- Сонтаг, С. (2013). *О фотографии*. Москва: ООО «Ад Маргинем Пресс».
- Цивьян, Т. В. (2008). Остров, островное сознание, островной сюжет. В Т. В. Цивьян. *Язык: тема и вариации: избранное: В 2 кн. Кн. 2: Античность. Язык. Знак. Миф и фольклор. Поэтика*. (стр. 151–160). Москва: Наука.
- Чехов, А. П. (2009). *Остров Сахалин*. Новосибирск: Сибирское университетское издательство.
- Юзефов, В. И. (2011). В. Ланин – первый дальневосточный фотограф. *Вестник Сахалинского музея*, (1), 257–261.

References

- Cosgrove, D. (2008). *Geography and Vision: Seeing, Imagining, and Representing the World*. London: Bloomsbury Publishing.
- Kivelson, V. & Neuberger, J. (2008). *Picturing Russia: Explorations in Visual Culture*. New Haven: Yale University Press.
- Osborne, P. D. (2000). *Travelling Light: Photography, Travel, and Visual Culture*. Manchester: Manchester University Press.
- Rowntree, L. B. & Conkey, M. W. (1980). Symbolism and cultural landscape. *Annals of the Association of American Geographers*, 70(4), 459–474.
- Sagan, I. (2006). Contemporary Regional Studies: theory, methodology and practice. *Regional and local studies*, (5), 5–19.



- Vedenin, Yu. A. & Kuleshova, M. E. (2001). Cultural landscape as an object of cultural and natural heritage. *Izvestia RAN. Geography series*, (1), 7–14. (In Russian)
- Vishlenkova, E. A. (2011). *Visual ethnology of the empire, or "Not everyone can see a Russian"*. Moscow: New Literary Review. (In Russian)
- Gallyamova, L. I. (2006). Development of Sakhalin in the assessment of Russian researchers in the second half of the 19th and early 20th centuries. *Vestnik FEB RAS*, (3), 156–162. (In Russian)
- Golovnev, I. A. (2019). Images of Kamchatka in the works of Benedict Dybowski. *Humanities in Siberia*, 26(3), 12–17. (In Russian)
- Golovneva, E. V. & Golovnev, I. A. (2020). The Far East in Vladimir Arsenyev's Photographic Works: A "Repertoire" of Images. *Quaestio Rossica*, 8(3), 1023–1036.
- Gornitskaya, L. I. & Larionova, M. Ch. (2013). *A place that does not exist ... Islands in Russian literature*. Rostov-on-Don: Publishing house of the SSC RAS. (In Russian)
- Guryeva, M. M. (2009). Everyday photography as an object of scientific research. *Bulletin of the Leningrad State University. A.S. Pushkin*, 2(3), 153–161. (In Russian)
- Dudarets, I. G. (2013). Historical portraits ("Icons of old Sakhalin"). *Bulletin of the Sakhalin Museum*, (20), 52–65. (In Russian)
- Dunaeva, E. N. (1977). On the history of working on the book "Sakhalin Island". *Literary Heritage*, (87), 263–300. (In Russian)
- Ikonnikova, E. A. & Stepanenko, A. A. (Eds.). (2013). *Sakhalin and the Kuril Islands in literature and periodicals: collection of scientific articles*. Yuzhno-Sakhalinsk: publishing house of SakhsU. (In Russian)
- Kagansky, V. L. (2001). *Cultural landscape and Soviet habitable space: Collection of articles*. Moscow: New Literary Review. (In Russian)
- Hard labor. History of Sakhalin* (n.d.). Retrieved from <https://www.sites.google.com/site/istorianevelsk/katorga> (In Russian)
- Koni, A. F. (1959). A.P. Chekhov. In A. F. Koni, *Selected works*. Vol. 2. (pp. 340–348). Moscow: Gosyurizdat. (In Russian)
- Martishina, N. I. (2016). The concept of the diversity of types of cognition: on some consequences of the paradigm. *OmGPU Bulletin: Humanitarian Research*, 1(10), 21–24. (In Russian)
- Ragulina, M. V. (2012). Morphological studies of the cultural landscape: an integral view. *Society. Environment. Development (Terra Humana)*, (3), 204–209. (In Russian)
- Siberian Bulletin of Politics, Literature and Public Life* (1893). Tomsk, (138) Retrieved from <http://sun.tsu.ru/mminfo/000349027/index.html> (In Russian)
- Sontag, S. (2013). *About photography*. Moscow: Ad Marginem Press LLC. (In Russian)

- Tsivyan, T.V. (2008). Island, island consciousness, island plot. In T. V. Tsivyan. *Language: theme and variations: favorites: In 2 vols. Book. 2: Antiquity. Tongue. Sign. Myth and folklore. Poetics.* (срп. 151–160). Moscow: Science. (In Russian)
- Chekhov, A. P. (2009). *Sakhalin island*. Novosibirsk: Siberian University Publishing House. (In Russian)
- Yuzefov, V.I. (2011). V. Lanin is the first Far Eastern photographer. *Bulletin of the Sakhalin Museum*, (1), 257–261. (In Russian)



‘IN RUSSIA WE ARE MUSLIMS, IN TURKEY WE ARE GYAVURS’: FLUID IDENTITIES OF THE ARMENIAN-SPEAKING MUSLIM HEMSHILS

Nona R. Shakhnazaryan (a)

(a) Institute of Archeology and Ethnography Armenian Academy of Sciences Republic Armenia.
Yerevan, Armenia. Email: nonashahnazar[at]gmail.com

Abstract

The study examines the process of re/formation of social, ethnic, and religious identities in the Caucasian Black Sea frontier. It resulted in empirical validation of constructivist paradigm. The author tries to elucidate the creative process of ethnic identity formation, which is, according to the presented empirical data, directly linked to socio-economic surrounding of the group. Admittedly, the Hemshils serve as a vivid example of fluidity and flexibility of social identity. The study tries to show how Hemshils' ethnicity has been shaped by their historical destinies and how they represent it in their everyday life. Living in the borderlands, subsequent bitter experience of deportation, legal disabilities and social deprivation in the receiving societies have predetermined unstable and situational quality of Hemshils' ethnic identity. The last few decades have been crucial for survival of Hemshils' communities. New social conditions set the stage for the re-articulation of their ethnic self-identification. Actually, each member of the group may virtually choose between the habitual Turkish option, 'domestic' Hemshil or 'lost' one, as they have suddenly realized, and some of them regained their Christian-Armenian identity. The versatile dramatic experience tends to foster fluid type of identities redefining and reiterating them repetitively. The aim of the research is the ethnographic description of the discursive contexts of those unstable changes. The research addresses social scientists and students as well as anybody who cares of how social identity is molded.

Keywords

Unstable identities; Frontier Studies; forced migration; marginalized communities; hard memory



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

«В РОССИИ МЫ МУСУЛЬМАНЕ, В ТУРЦИИ ГЯВУРЫ»: СИТУАТИВНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ АРМЯНО-ЯЗЫЧНЫХ ХЕМШИЛОВ-МУСУЛЬМАН

Шахназарян Нона Робертовна (а)

(а) Институт археологии и этнографии Национальной академии наук (ИАЭ НАН).
 Ереван, Армения. Email: nonashahnazar[at]gmail.com

Аннотация

В исследовании рассматриваются процессы формирования социальных, этнических религиозных и политических идентичностей на Черноморском фронтире Кавказа. Фокусом исследования является небольшая этническая группа армяно- и тюрко-язычных хемшилов, проживающих в современной России, Турции, Киргизии, Казахстане и Грузии. Автор пытается прояснить творческий процесс формирования различных идентичностей, напрямую связанный, согласно представленным эмпирическим данным, с различными социально-экономическими контекстами, в которые помещалась группа. Следует признать, что хемшилы служат ярким примером изменчивости и гибкости этнической идентичности. В исследовании делается попытка показать, как этническая принадлежность и другие самоидентификации хемшилов формировались под прямым воздействием их исторических судеб и репрезентации этого социального опыта в повседневной жизни. Проживание в приграничных районах, последующий фантасмагоричный опыт депортации, правовые ограничения и социальная депривация в принимающих обществах предопределили нестабильность, неустойчивость, гибкость и ситуативность этнической и других идентичностей хемшилов. Последние несколько десятилетий имели решающее значение для выживания общин хемшилов. Новые социальные условия создали благоприятный фон для переоценки их этнической идентичности. Фактически каждый член группы может выбрать между привычным турецким вариантом (как следствие проживания во фронтирных районах Понтийского региона восточной Анатолии, Османская империя), «домашней» (собственно гибридная хемшилская идентичность, самоотождествление себя с районом проживания предков – (Х)Амшен, современная Турция, Причерноморье) или «утраченной», что они внезапно осознали с особенной остротой в Грузии и в России, христианско-армянской идентичностью (согласно усеченным письменным и устным данным, утерянной в результате насильственной исламизации в XXVI в. в границах Османской империи). Результатом исследования стал тезис о том, что разносторонний драматичный опыт и многослойная травматическая память о нем способствуют ре/конструированию социальных идентичностей, переопределяющихся и повторяющихся многократно в зависимости от изменившегося «токсичного» социального контекста.

Ключевые слова

Дрейф идентичности; Фронтирные исследования; вынужденная миграция; маргинализированные сообщества; трудная память



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



*Identity is formed by social processes.
Once it has crystalised, social relations sustain it,
change its appearance or even its form
(Berger & Luckmann, 1995, p. 279)*

INTRODUCTION

The basics for this article was a research describing and analysing the processes of ethnic self-identification among representatives of Hemshil communities, living relatively densely in Krasnodar Territory's Apsheronsk and Belorechensk districts (Russian Federation)¹. The fundamental questions are as follows: what significance does ethnic identity have under the conditions of radical social change, and what do behaviour strategies ensue; what social conditions and factors determine community's ethnic (re)orientation?

The article is based primarily on field research materials gathered in the places where Hemshils reside (the villages of Vpered, Erik, Kim, Kalinin, and *stanitsa* Kubanskaya, all in Apsheronsk district, Krasnodar Territory, Russian Federation; the villages of Sarpi, Akhalsopeli, Kakhaberi, Gonio, Dzharnali, Feriya and Urekhi in Khelvachaur district, Adzharia, Georgia). Qualitative, 'soft' research methods (biographical narratives) in the context of the 'cultural-analytical' tradition were used. Explanatory models in the research are given in the key of a constructivist theoretical paradigm (Berger & Luckmann, 1995; Anderson, 2001; Hobsbawm, 1998; Hobsbawm & Ranger, 1983; Bhabkha, 1994; 1990; Hastings, 1997).

It is normally taken that Hemshils (they call themselves *Homshetsi*) are Armenian-speaking Turks with an 'non-precise', 'migrating' ethnic identity. The majority of researchers tend to consider Hemshils to be descendants of Armenians from Hamshen region on the Eastern Anatolian coast of the Black Sea who were subjected to forcible islamization (Kuznetsov, 1995, p. 22-25; Vaux, 2007; 2001; Megavorian, 1904, p. 365).

Owing to the fragmentary nature of surviving written sources it is possible to construct the history of the islamization of Hemshils in the Ottoman Empire, with all the resulting consequences (for the greater part stabi-

¹ According to approximate data received from the spiritual leader of the Hemshils, Hasan Salikh, by 2003, about 200 families currently reside in Krasnodar Territory; up to 100 Hemshil families reside in Kazakhstan and Kyrgyzstan; about 50 families live in Rostov and the same quantity in Voronezh; a few live in Turkey. According to the data from Aleksandr Ossipov, (*Khemshiny, Hemshily, khemshinli*, unpublished manuscript) 'about 700 Hemshil families reside within the borders of the former USSR. They are distributed in the following way. More than 200 families live in Russia, including about 150 in Krasnodar Territory (in the Apsheronsk and Belorechensk districts), about 30 in Rostov oblast (in Kamensk district), about 30 in Voronezh oblast (in Gribovsk district). At least 280 to 300 families are left in Kyrgyzstan, including 50 in Bishkek. In Kazakhstan's Chimkent oblast (Sayram district) live about 100 families, and about as many again in Dzhambul oblast (Dzhambul district).

lising and vital). Alongside with this, apart from fragmentary reports that the Turkish Hemshils secretly performed Christian as well as Muslim rites, in contemporary daily life Hemshils perform ‘strange’ rituals or customs that suggest that in the past they may have followed Christian faith². Survivals of Christianity could still be found among the Hemshils at the beginning of the 19th Century and in some districts, for example Riza, according to academician V. Gordlevskii, even later (Gordlevskii, 1962, p. 329). At the same time researchers noted the development of unbridled zeal on the part of the newly converted, ‘neighbouring towns around Trebizond -- Of, Siurmene -- later supplied Mullahs whose fanaticism was known throughout Asia Minor; they brought to Islam the intolerant fervour of the convert...’ (p. 144). A strict adherence to Islam was already observed in the Soviet period even among the Laz neighbours of the Hemshils in Adzharia

² Sources that testify to Hemshil crypto-Christianity include:

‘Khamsheny deliatsa na dve chasti. Mnogie iz nikh obrashcheny /v islam/, odnako sobliudaiut khristianskie obychai. Oni ne skupiatsa v prinosheniyakh i /razdache/ milostyni. Pochti vse v den preobrazhenia i uspeniya bogoroditsy otravaiutsa v tserkov, zazhigaiut svechi i prinosiut zhertvy za spasenie dush svoikh predkov’ (Melikset-Bekov, 1950, p. 166);

A. Bryer, in “The theme of Greater Lazia and the Land of Arhaket” (1985 p. 337), who writes, referring to Cuinet and others (Cuinet, *Turquie d’Asie*, 1, pp.119-120; Ritter, *Erdkunde*, XVIII, pp. 923-927; Bzhshkian (1819), p. 96) that ‘Muslim Henshinli baptised their children in 1890’;

A.P. Megavorian in “Towards the issue of ethnographic conditions for development of the peoples of the Chorokhsk basin” (1904, p. 367), writes of the islamization of the ‘Hamshinli’ as accepted fact and discusses the consequences of this event for the ‘national character’; *‘mass conversion to a new religion and particularly the religion of the dominant political tribe, as in the case of Christian peoples turning to Islam, offering to a disenfranchised infidel all rights, and even privileges, must have produced fundamental changes in their morals, customs and occupations...’*

From a range of rituals performed unconsciously by Hemshils: *using a knife to scratch a cross above the door jamb when accompanying the bride from the house* (Kuznetsov, 2000, pp. 240-241);

using the edges of two knives to cut a cross shape on the upper part of the door jamb when the bride arrives in the house of the groom (the village of Urekhi, informant Durie Karaibragim ogly, ‘to this day we ask the old people, why a cross? No one has given us an answer...’);

a type of diagonal cross made by the Hemshils with the edge of the palm when baking bread (interview in the village of Akhalsopeli, hamlet Kakhaberi, village of Feria, village of Urekhi, Adzharia, Georgia).

Informants explain this in the following way, *‘we and our forebears always did it this way, just because it makes it easier to divide the bread into parts’*.

Informant Ayvazov Levan, born in 1934, Batumi, *‘All our local Muslims stored corn bread (tchabi) in a stone pan and always made a diagonal cross with the hand on the bread, but not an upright cross. No one was able to explain why...’*



(village of Sarpi)³. According to I. Kuznetsov, ‘islamization for the Armenians did not only mean wholesale deformation of culture, from domestic and agricultural to one of social organization, but loss of ethnic identity’ (Kuznetsov, 1995, p. 22).

The Georgian researcher Tsate Batsashi claims new combinations of Khemsil identity and provenance, stating that among the Hemshils of Lazistan, Laz identity was dominant. He writes that the Hemshins of Turkey give children ‘domestic’ pet names and nicknames that are clearly Laz, both in meaning and in sound. Apart from that, referring to data of N. Marr, he speaks of Hemshin family names that ‘are also Laz both in form and meaning’ (Batsashi, 1988, pp. 116, 117)⁴.

Other versions are put forward in articles by the English researcher Anthony Bryer. In one of the articles he suggests that the Hemshins may, through their cultural and historical origins, be linked to the people known as ‘Chan’, or in the Greek pronunciation ‘dzani’ (Bryer renders this as ‘Tzan’). In general he tries closely to define the dividing line between the Laz and the Chan. Bryer writes that there is a certain tradition of identifying the ‘Chan’ with the ‘Laz’, or more accurately, seeing the ‘Chan’ as a subgroup of the ‘Laz’. He calls this tradition ‘Russian’ and ‘Georgian’. But at the same time he begins his analysis from the standpoint that for ancient and medieval authors these two peoples were manifestly different (pp174-175). The ‘Chan’, unlike the ‘Laz’, have disappeared completely as an ethnic group by the Middle Ages. Bryer merely suggests that this group was assimilated in the frontier zone of the Trebizond Empire. Perhaps the Hemshils are one of the ethnic groups who continue an agricultural style of life ascribed to the ‘Chan’ in various sources. Bryer shows that from the late Middle Ages the ‘Chan’ are being identified with the ‘Laz’ in the region (at that time the former having already disappeared as a group with its own distinct cultural, linguistic or other identity, the latter beginning to be called ‘Chant’ or ‘Chan’). Meanwhile the whole Pontos at certain periods in the late Middle Ages appears in Armenian, Byzantine and Turkish sources under the name of Djanik (later, and up until now, the region around Samsun in the West Pontos bears this name), which derives not from ‘Chan’ (Tzan) but ‘Laz’ (Chan). Since for the contemporaries outside the Pontos all this territory was seen as being inhabited by people that were culturally very different from the remaining population of Anatolia, the regional name was linked with the ethnonym of a small group from the Eastern Pontos. More-

³ Informant Kakhidze Khaki, born in 1912, village of Sarpi, tells: *‘The Hemshinli even said to us: the Laz make termoni (a grape juice called bekmezi in Turkish), but the Muslims don’t drink termoni. The Christians also made this. They set us straight... They never followed the Christian way’*

⁴ My thanks to doctoral research student A. Popov for a specialist consultation in relation to this complex question.

over, the ethnonym is not autochthonous for the Laz but was borrowed, or rather was transferred to them following the disappearance of another ‘picturesque Pontic group’ of ‘Chan’ (Tzan). Bryer also indicates that the ethnonym ‘Chani’ is not a name used by the Laz themselves, but in contemporary linguistics is an external ‘Georgian’ designation for the Georgian [Kartveli]-speaking population of the Eastern Pontos (p. 174) Such is the case to date, when the whole population of the Pontos in Anatolian Turkey is called ‘Laz’ (lazlar), and Pontic Greeks who migrated to Greece in 1923 also continue to be called there Laz (Bryer, 1988).

Clearly, the issue of the origins of the Hemshils is fairly complex and disputed. However, in the framework of this article I deal with the concrete mechanisms at play in the change of identity among representatives of the Hemshil communities. The historical discourse is relevant here in view of the opinion that history allows one to uncover the reasons, sources and conditions for contemporary societal changes (Nisbet, 1969, pp. 302, 303).

FACTORS THAT CAUSE MARGINALISATION OF THE HEMSHILS

It has come about that Hemshils are the bearers of more than one identity simultaneously. Which factors can be considered to have influenced that process? Ethnic identity has very frequently (one can say, with a certain cyclical tendency to repetition) played a fatal role in the history of the Hemshils. National concepts, both among their forebears and contemporary Hemshils, emerged from difficult personal experiences in contemporary culture, where national identities led and continue to lead to really disastrous situations, constituting threat to physical existence. Complex peripeteia in the history of the Hemshils were directly linked, to all appearances, with the fact that they resided in a frontier area (Turkey, Georgia, the border with the USSR). That is, they were marginal by definition. It is precisely their location on the border, and the existence of family members in Turkey that were the ostensible reasons for the Hemshils’ deportation in 1944, under the so-called ‘preventive measure during wartime that rendered essential the ‘desirability’ and ‘loyalty’ of the border populations’ (Nekrich, 1978, p. 104). This is confirmed by informants.

Durie Karaibragim ogly, born in 1959, village of Urekhi, *‘When they raised the [Soviet] flag in Sarpi, not only relatives but close family ended up on the other side. Part of the family ended up here in Soviet Adzharia and part in Turkey.’*

Informant Kakhidze Khaki, born in 1912, village of Sarpi, *‘Some Hemshils had Turkish passports and really were both here and there. The majority of them moved to us [in Sarpi] from Khopa and went to work for the Laz... because there*



was no life there, there was nothing, no matches, no soap, no sugar, no kerosene, nothing at all. Over there they had wonderful brick houses. Here life was different under the Soviets, you could get everything. They took everything from here and brought it over there, to Khopa. In the end, they became very rich. My grandfather and another grandfather Kandilabo, took on Hemshils as shepherds. When medicine against sheep diseases appeared, livestock rearing developed but then declined. And their affairs again advanced. They were good workers, very good... They were not interested in politics, they looked to Turkey for financial reasons.' 'Under collectivisation the Hemshils and Kurds refused to join the collective farm [the Kolkhoz], which meant they became undesirables in the eyes of the state. That's why the special deportations were organised.'

Bakradze Otari, village of Sarpi, *'Until 1937 we went to and fro with no problem. We had land there, they had land here, but we were allowed to stay [in Turkey or Adzharia] only from morning to evening. We only had permission to work the land.' 'The Hemshils had Turkish wives and didn't go themselves to the collective farm, they had their own farms, sheep farming... there were pastures...'*

Abuladze Dzhemal, officially born in 1940, in fact born 1938, village of Akhalsopeli, *'The border was closed and families, relations, ended up on different sides. When one of us died, and the body was carried along, the funeral... the women wailed loudly and said, someone from this or that family has died, and over there he was also mourned [pominat']... they communicated with one another in that sort of way. Then loud mourning was forbidden, they began to understand. Already the Georgians had begun to serve [sluzhit' in KGB], as they say, they began to betray us [zakladyvat' stali].*

Fate having left them within the borders of the USSR, in theory the Hemshils could reckon on relative stability, in so far as 'regardless of the existence of the "fifth point – nationality" in various documents, ethnic identity was in practice of little significance. Under the 'levelling' Soviet model of socialization, nationality formed part of the background of general daily 'Soviet' culture' (Voronkov & Osvald, 1998, p. 6). However, this concerned everyone except the Hemshils and several other 'undesirable' peoples (including Germans, Greeks, Kurds, Georgian Muslims, Turks, Chechens, Ingush, Karachays, Crimean Tatars and others) who were exiled by the Soviet authorities in the difficult days during the war with Germany. In this instance the Turkish identity of the Hemshils played, rather, a fatal role (in contrast with the reality of the Pontic-Anatolian context), because of the threat posed by political relations with the Turkish Republic during the Second World War.

To this one can also add the factor of the political and economic interests of the higher administration and ordinary inhabitants of Adzharia (in the Georgian Soviet Socialist Republic). These factors were not decisive, but in the long term the strategies that they dictated played a negative role,

impeding the Hemshils' return to the places where they formerly lived, as well as their access to compensation for loss of property. Here we have in mind the local population (Georgians, Laz) who secretly had an interest both in ethnic 'cleansing' (the Georgian administration), and in acquiring the property of the hardworking, usually prosperous Hemshils (some ordinary citizens)⁵. On 25 November 1944, in accordance with decree No. 6279 of the Committee of State Security (KGB) of the USSR, dated 31 June 1944, the Hemshils were deported as an ethnic group in the extrajudicial, administrative, absolute manner of the time⁶.

Having lived through the 'Special Settlement' regime, and recovering after the rehabilitation in 1956 that gave them equal rights with all other Soviet citizens and removed the stigma of 'traitors to the homeland'⁷ the Hemshils were faced with new destructive problems linked with the so-called 'parade of sovereignty', the disintegration of the USSR and ethnic conflicts in the 'independent' states on the periphery of Russia. Under pressure from nationalist bandit groups in Kyrgyzstan, the Hemshils were again forced to abandon their homes and moved to Krasnodar Territory⁸.

⁵ Although the fact remains that, according to informant testimony, the process of settling direct neighbours in the Hemshils' homes was neither completely simple nor smooth. The local inhabitants, bound to the newly exiled Hemshils by ties of friendship and neighbourliness, often refused to move into the Hemshils' empty houses. 'The Georgian government was forced to disseminate propaganda and invite young families from the mountainous village of Khulo, who also were not completely willing to be taken from their large patriarchal families (informants from the villages of Akhalsopeli and Feria).

⁶ According to the data of N. Tsetskhladze, the deportees from the Khaliachaur district comprised 152 Hemshin families, the total being 1087 people. In November 1944, 304 Khenshin families were deported from Adzharia, including 231 families from the Batumi district, 6 from Batumi itself, 34 families from Kobuleti district, 5 from the Keda district, 28 from the Khulo district (Mgeladze & Tunadze, 2003, p. 272).

⁷ A. Ossipov (unpublished manuscript), *'In 1958 seven families tried to return independently to the village of Avga, but the Adzharian authorities did not allow them to do so. A little later others repeated the attempt, also without success. In June 1960, thirty Hemshil families who had settled, after all their hardships, in the Lanchkhut district of Georgia, were forced out of the republic. For the next almost 30 years the Hemshils were forced to remain in the places to which they had been deported, Kyrgyzstan and Kazakhstan.'*

⁸ Concerning the theoretical (statistical and census data) and real (figures gathered by researchers and community activists) number of Hemshils, the following constructions exist: Hemshils lived within the borders of the Adzharia ASSR, right up to 1944, and according to the All-State Population Census of 1926 numbered 627. In November 1944, at the moment of deportation to Kyrgyzstan and Kazakhstan they numbered 1,400. Subsequent censuses did not allocate them a separate 'nationality'. In 1983, 12 Hemshil families came to Krasnodar Territory. According to A. Ossipov's data (contained in an unpublished manuscript), after the Uzbek-Kyrgyz conflict in 1989 another 150 families came to Krasnodar Territory. By the beginning of the 1990s, for various reasons, above all deterioration in inter-ethnic relations in Krasnodar Territory, the Hemshil migration had basically come to an end.



PARADIGMS OF HEMSHIL IDENTITY, THEIR NUMBERS AND SITUATIONAL CHARACTER

From the beginning ('as far as we ourselves can remember' – informants) the Hemshils are carriers of a double identity, Turkish (based, above all, on religion) and Hemshil (based on language). Hemshils speak in two domestic languages, Turkish and Hemshil, although thanks to their knowledge of Uzbek, Kyrgyz, Kazakh and Russian the group is multilingual. Also worthy of note is the hypertrophied Muslim identity among many Hemshils, above all among older people (Sunni Muslim in character), whose reinforcement can most likely be attributed to contact with the Muslim cultures of Central Asia during the period of exile (1944 to 1989). At the same time it is well known that unsuccessful attempts were made to establish contact with Armenia with the aim of facilitating the removal of several groups of Hemshil intellectuals from Kyrgyzstan⁹. As regards Turkish identity, this is fairly robust and tends to be in the foreground, above all in social situations. According to field research by V. Kyrlev, two young Hemshils (both born in 1960) introduced themselves upon meeting as Turks, and only later added that according to their passports they were Hemshils (Kyrlev, 1992, p. 29). With regard to the 1980s migration to Krasnodar Territory¹⁰, this group's sense of identity is even more complex, revealing nomadic forms of identification. This is above all linked to the fact that after many centuries the Hemshils again found themselves intertwined with their original historic (Pontic) context. To the great surprise of

⁹ For further information about organised attempts to relocate to Armenia see Khanzadian, 2002, pp. 194-197.

¹⁰ The Hemshils were invited to come from Central Asia to the Armavir (1969) and Apsheronk (1983) districts of Krasnodar Territory in order to develop pig breeding and the tobacco industry. The invitation was contained in an official letter from the Krasnodar Territorial Executive Committee, which sanctioned the mobilisation of Hemshils from Central Asia. Two Soviet officials were responsible for implementation of these ideas, the first party secretaries of these districts, Shevchenko and Kharchenko. A special delegation was sent to Central Asia to persuade the Hemshils to move to Apsheronk District, as a result of which 12 Hemshil families came. The Hemshils worked and continue to work in the tobacco industry, which was dying out in the 1990s. In recent years the acreage planted to tobacco in Krasnodar Territory, which, unlike in other districts of Russia, has not completely given up this form of agriculture, has reduced from 5,200 hectares in 1986 to 480, while the gross yield reduced to 454.5 tons of leaves (a twelve-fold reduction over the same period of time). Work in the tobacco industry is hard, unhealthy and abysmally paid, which puts off the 'native' population. An illegal and exploitative system of employment is practiced, 'You won't find a single Russian on the tobacco farm, only Turks and Hemshils. They pay in cigarettes, we hand them over for half price because we are not allowed to sell them. We earned 2000 roubles for the year's work, they paid us 600 and that was it. They often con us. But we have no choice but to work there, because we are without proper papers so no one else will employ us' (village of Erik, tobacco farm). In this way the tendency of this population to work in pig rearing and the tobacco industry was pre-ordained. Carrying on their pastoral traditions, many Hemshils are involved in animal husbandry and the meat business.

the Hemshils themselves¹¹, they discovered that their ‘original’ language that they called Hemshin (*homshesma*) was completely comprehensible and used by the neighbouring ‘*amshen*’ Armenians. However, as confessional identity among the Hemshils is strong, one observes a tendency among ordinary Hemshils to further strengthen a robust Turkish (Muslim) identity and to distance themselves from their Armenian neighbours. It is likely that the Hemshils experience all the ‘unbelievable paradoxality’ of the phenomenon of the ‘Armenian Muslim’ given the connotations of Armenian history relayed by their neighbours in the course of everyday life. Nevertheless, informants also expressed themselves as follows, ‘Our native tongue is *homshesma*, we were Armenians but became Muslims, but I have no idea how that came about...’ ‘Our native tongue is Hemshil, it’s like Armenian’ (Kim hamlet). Turkish identity and the degree to which it is fixed depends also, according to interview data, on profession and on the degree of intensity of people’s links with the Turkish economy and with other Turks. However several issues arise. ‘In Turkey people often say we are not real Turks, and ask who we are. I usually answer, by nationality I am a Turk, my people are the Hemshils. I am a Muslim and so is everyone there, and that’s that!’ ‘I do business with Turkey. My colleague [in Turkey] says ‘you aren’t a Turk’. I answer that I am an Ottoman, so there!’¹² (Informant Karaibragimov Mavlud, born in 1971, city of Novorossisk, Russian Federation). There was an interesting incident in Apsheron market. In the middle of an interview with the traders in the ‘Turkish’ section of the meat market¹³ I was called aside by one of the Hemshil meat traders, who begged me ‘please, **for the sake of the Turks**, don’t write anything, it will just be

¹¹ The Informants spoke of the situations when they had accidentally discovered for themselves the fact that their language could be understood by Armenians. Informant Salikh ogly Said, born in 1959, in the village of Vpered, tells: ‘It was in a train. I was saying to my aunt in Hemshil that she would have to take the upper bunk, because the old lady who was with us in the compartment was too old and sick. She turned out to be Armenian and understood every word. She hugged me and thanked me. I was amazed, how could she understand Hemshil? Because I thought that no one except us Hemshils could understand our language.’ Service in the Soviet Army also threw up examples. Informant Salikh ogly Batyr, born in 1968, village of Erik, tells: ‘I served in Sevastopol and somehow or other got leave. I went to the restaurant and suddenly got all excited. I heard a guy playing on the piano and singing in Homshesma. I went up to him and said, brother are you a Hemshil? He said he didn’t know what I was talking about. I said, ‘but I heard you singing in Hemshil’. He said, ‘no brother, I was singing in Armenian’. Afterwards I wondered how it was that I could understand Armenian.’

¹² In the Ottoman Empire, right up to the beginning of the 20th Century, only peasants from the remote parts of Asia Minor were called Turks. Members of the ruling circles called themselves Ottomans. But with the rise of the national movement at the end of the 19th Century the word ‘Turk’ began to be attached to all categories of the Turkish population (Starchenkov, 1990, p. 85).

¹³ In the central market in the town of Apsheronsk, in Spring 2002, incidents erupted as a result of which the ‘black’ meat traders were excluded from the ‘Cossack’ market as ‘aliens’, on the crest of a wave of xenophobia. The situation was resolved in the following way. A ‘Turkish’ businessman built a new ‘Turkish’ pavilion for the meat traders who had been left with nowhere to sell their meat -- Meskhetian Turks, Hemshils, Yezids, Kurds. It is common in Krasnodar Territory for economic competition to take on a racist tinge.



worse, we have no one to protect us...’ In general the market, and relations at the market, are a very interesting focus for a study of nomadic identity. It is no secret that, at least in the south of Russia, economic activities are carried out on the basis of personal contacts, sympathies and ethnic networks. In such an atmosphere ethnicity becomes a resource. ‘Turkish’ informants (Meskhetians) bitterly complained that ‘Hemshil meat traders pretend to be Armenians and speak in Armenian to Armenian customers and a minute later switch to Turkish and call themselves Turks if a Turkish customer approaches his stall.’ (Shamanadze Khalida, *stanitsa* Kubanskaya) Concerning matrimonial strategies, unions between Hemshils and Meskhetian Turks are rare but do occur (the marriages occurred exclusively in Central Asia, and in Krasnodar Territory they take place no longer); unions between Hemshils and Armenians – never. The most common mixed marriages take place with Kurds, but they are ‘unusual’ and not with all Kurds, only so-called Hemshil Kurds (they also call themselves *Kurd-Hemshil* and live in the town of Khadyzhensk, Apsheronsky district of Krasnodar Territory)¹⁴. In general, the group follows endogamous practices, often between relatives because of the small size of the community. If one considers marriage strategies to be an identity marker, then such practices in their turn are an indication of a strongly separatist nature of Hemshil identity in private life (but do not necessarily signify that the community’s intentions and tendencies are isolationist).

Muslim spirituality and religious practices fill the daily life of the older generation in many families (prayer five times a day (*namaz*), frequent washing (*abdest*), annual observance of the month-long fast (*ramazan*). These rituals imbue every sphere of daily life, and in particular the wedding cycle, the wedding itself (the compulsory *nikah* or *nikoh* ritual that is the Muslim equivalent of the Christian wedding ceremony), sexual practices (the compulsory *ghusur*, ablutions ‘from the ends of the hair to the heel’ immediately after intercourse). Young Hemshils are either completely indifferent to religion or observe the laws of Islam purely formally. However, and here the ubiquitous Weberian principle comes into play, ‘Social agents follow the rules when the advantage of submitting to them is greater than that of breaking them’. The question is, under what conditions is the rule most often applied and are regulatory practices observed? Additionally, if

¹⁴ Their Meskhetian Kurd neighbours sometimes consider the Hemshils to be Kurds because of their language, which it appears to them is similar to Kurdish, although the Hemshils deny this. Nevertheless the Hemshils specially single out from their number a small bilingual (Turkish and Kurdish) group of those same Kurdo-Hemshils. This could be a local community of Kurds from Hemshin region who have travelled side by side along the same path from Turkey to Krasnodar Territory via Adzharia and Central Asia. In Adzharia, in the village of Akhalsopeli, two Kurdish families also live (their family name is Shamogly), coming from the small number (Communist party members) who, with great difficulty, managed to recover their homes in 1957.

the advantage coincides with submission to the rule, the agent derives a double advantage, a symbolic and a practical or economic one (P. Bourdieu). For example, a Hemshil woman who wishes to protect her son from the dangers of service in the Russian army invests the maximum effort in sending him to study to become a mullah in Turkey. Some Hemshils react negatively to the least allusion to former Christianity or Armenian origins. As a rule, this is again those who derive some advantage from articulating this rather than another identity. Such was the case at a wedding in July 2001 in *khutor* Kalinin. A young man started an argument about a newspaper article that spoke of the possible Armenian origins of the Hemshils (the newspaper of Armenians in the South of Russia *Erkramas*, 2001, p. 8) and behaved rather aggressively. His behaviour was provoked by my answer to his question concerning my own nationality. ‘We are not Armenians, we were never Armenians and even less Christians! Leave us in peace! You come her telling your tall tales and then we have problems, our business is harmed. You give us no peace...’ (Aydin, *stanitsa* Pshekhskaya).

A degree of marginalisation is often reflected by informants. A Hemshil woman from Batumi complained that a jealous Muslim Hemshil in Kemal-Pasha was still called Ziya Gyavur (*gyavur* means faithless, an infidel). ‘We belong nowhere, that’s what is so awful. In Russia we are Muslims, in Turkey *gyavurs*’ (Informant Feyz ogly Pakise, born in 1961 in Batumi). Often it is precisely these spontaneous reflexes, thinking aloud, that reveal the direct process of constructing ethnic identity, ‘What is a homeland? Where you are born and grow up. But we don’t have that. In this century we are migrants, from Turkey to Batumi, from Batumi to Kyrgyzstan, Central Asia, and here. A homeland is somewhere where people accept you, where they know you, respect you, value you. We don’t have that here. We are the smallest people, on the brink of extinction, we either have to attach ourselves to some people or other, or...? Even if we fight to preserve our people, there is very little guarantee of success. And our culture has completely degraded, illiteracy, we have no lawyers, no professors, there are doctors, but... [We] are a people who have lost a lot, but who is interested in us? No one. I think that to preserve a nation you need a homeland, but where can we find one? Where is my homeland now? I was born in Central Asia, my grandfather in Turkey, my father in Batumi, and my son was born here. How can I say where my or my son’s or my father’s homeland is? It is already impossible to say which homeland is the main one. Adzharia? As for me, I think one has to be attached to one spot, but that will never happen. Already we can’t seek our past because our past is in different places. Some say that our homeland is where we were born, let’s go there. Fine, but what about our children? They already speak a dif-



ferent language, they have been brought up differently' (Informant Salikhogly Rovshan, born in 1963 in the village of Vpered).

So the formulation of Hemshil identity, the Hemshil ethnic code, is based on an all-embracing marginalisation, the community's exclusion from social networks in the host culture. These divisions have a huge social significance at the micro level. People need to be able to present themselves in society; this influences what sort of niche they can occupy in that society and whether they can occupy one at all, filling the role of outcasts. Formulating this code has a direct relation to real history, which is specifically constructed on 'fate', mobilising collective identity on the principle of 'if they don't accept us in the new society we will create our own internal solidarity'. The result is a closed community. In this sense the choice is predetermined. Social development in the host society is made exceedingly difficult, while social life outside one's own community is almost non-existent.

It is therefore important, it seems, to differentiate the types of cultures and socio-political systems oriented towards (1) survival and (2) development/improvement. These aspirations are directly related to the level of economic development, and to the political or ideological leanings in the society being examined. In the first case, in the issue of ethnic self-identification there can be no freedom and abstraction from the daily context. The ethnicity that has given rise to such a quantity of real problems cannot, in principle, be a 'private' ethnic identity, an identity 'for yourself' (unlike the second case), because the social milieu plays too active, not to say repressive, a role. We can therefore say that formation of an ethnic identity is a dynamic process, but in no way an act of free choice. Given that social conditions exert too strong a pressure on communities creating at times insurmountable barriers to integration and assimilation, it is the real contemporary situation prevailing in the Russian provinces.

CONTEMPORARY ASPECTS OF THE PROBLEM: MIGRATING BARRIERS OF IDENTITY AND MARKING OF A NEW MARGINALISATION

The ambiguous situation in which the Hemshils of Krasnodar Territory find themselves has driven the Hemshils themselves into huge confusion and misunderstanding, along with the local population and above all local official structures (which cannot distinguish who is who). In the multi-ethnic context I have described, where there is a multiplicity of self identities, people are put in a situation where they no longer understand who they are. The Hemshil leaders appear impotent and cannot make a choice that would bring their community 'the optimal economic, symbolic and cultural

capital' (Bourdieu, 1994, p. 106). They reside in tortuous vacillation concerning their final choice and legitimization of their ethnic status, a status that would provide their community with stability and prosperity. For this reason there has still been no indication that opinion is unified among rank and file Hemshils. The scales tilt one moment towards strengthening Turkish identity and uniting forces with the Meskhetians with the aim of survival, one moment towards insistence upon the unique nature of Hemshil cultural roots, one moment towards reconstruction, the renaissance of a 'lost' Armenian identity. Alongside this, they are extremely careful in adopting, even less institutionalising, Armenian identity. It is possible that this is because were they to adopt this identity, the Hemshil guilt complex of the potential traitors would increase. To the experience of deportation with the label 'undesirables' and 'enemies of the people', the stamp of confessional inconsistency and 'disloyalty' would be added. Recognising oneself as Armenian would mean accepting that one's ancestors 'betrayed' Christianity and, later, Soviet ideals. All the more so, the fact of a Christian past is hard to reconcile with the Islamic discourse that dominates their daily lives. Intermingled with this is the complex mixture of feelings linked with general Caucasian concepts of masculinity, although this issue is the theme for a separate research.

PUBLIC DISCOURSE THAT FORMS REALITY. PHOBIAS

The Hemshils, as well as the Meskhetian Turks, Kurds and other ethnic groups in Krasnodar Territory fall into the category of one of the most disenfranchised population groups. They are excluded from the status of refugee and from the social protection mechanisms that derive from that status, and deprived of residence registration. The issue of residence registration and citizenship is a central one. Resolving this issue would automatically resolve most of their other problems. However the Krasnodar authorities, true to the categories and concepts of the essentialist paradigm, unambiguously and at a variety of levels refuse legalisation to deprived groups (including the Hemshils). Hemshils, like the Meskhetian Turks and other ethnic groups, are considered to constitute a 'destabilising factor' by regional officials, on the basis of ideological myths and spy-mania. The Governor and his supporters throw out threats of deportation camps which will be the basis for 'expelling migrants'. The fears and difficulties have increased in recent years to such a degree that Hemshils (in particular the older people who know from experience the destructive power that the state machine can unleash) are ready to use any opportunity to demonstrate their loyalty to the local 'host' community. One of the Hemshil elders finished his welcome speech aimed at the young people at a wedding with the fol-



lowing words, ‘Three cheers for the Cossack ataman Gromov!’ (with great enthusiasm). The next speech, also pronounced by a grey-haired elder, was shouted loudly into the microphone, like a mantra, ‘We all remember, as we will always remember, that the Russian nation is the greatest in the world and is always in the vanguard.’

The infamous racist speech of Governor of Krasnodar Territory A. Tkachev made on central television agitated all the ethnic minorities, but in particular the Hemshils and Meskhetian Turks, because it was they who bore the family names that ended with the syllables pronounced as ‘outside the law’ (The Newspaper, 2002). Family names, in the context of contemporary public discourse, create a particularly blatant dependency or marker of formal ‘ethnic’ status. The spiritual leader of the Hemshils stated, ‘I am changing my family name and dropping the ‘ogly’. I went to the public records office and made an application to Kyrgyzstan on behalf of my children, I have already received the response...’ At the level of daily intercourse one’s family name, external appearance, accent and other markers give rise to and reinforce inequality. Changing one’s family name means ridding oneself of the stigma, at least for children born here, whom it will already be impossible to pick out on the basis of differences in intonation and ‘odd’ turns of phrase, borrowed from ‘domestic’ language. Of course marginalisation and a ‘rich’ experience of social inequality create a need to artificially correct one’s identity.

Xenophobia in public discourse and explosions of racism has made the problem of Hemshil identity a contemporary one, forcing them to resolution and a more defined self-identification. The Hemshil leaders initiated a written request to the Russian Academy of Sciences Institute of Ethnology and Anthropology named after N.N. Miklukho-Maklay for a historical certificate defining the status of their ethnic group. ‘We, the representatives of the Hemshil people (who call themselves Khomshetsi) are requesting that you assist us in obtaining a historical certificate which will confirm our ethnic origin as a separate Hemshil nation (Khomshetsi). At the moment, for various subjective and objective reasons, our people are designated in a range of official documents Hemshily, Turks, Georgians and so on. The same situation exists with our family names. Some have Turkish endings ‘-ogly’, some Georgian ‘-dze’, some Russian ‘-ov’, ‘-ev’ and so on. The historical certificate is essential to protect our ethnic identity and for submitting, when required, to various state bodies.’ (Of course the very fact of the appeal to an authoritative academic society is proof of the current social reality in Krasnodar Territory). The response signed by Doctor of History S.A. Arutiunov from the Caucasus Department of the Institute of Ethnology and Anthropology was as follows, ‘The Hemshils, who originated in the

Black Sea districts of Asia Minor, in particular Trebizond, must be seen as a distinct people, ethnically close to the Armenians, who converted to Islam in the Middle Ages. They speak their own form of the Amshen dialect of the Armenian language... According to international legal norms the Russian Federation is obliged to recognise the right of the Hemshils to Russian citizenship, to live in any part of Russia, to receive legal and social protection from the Russian federal authorities. ...Hemshil family names may have a range of suffixes ('-ogly', '-dze', '-ev', 'ian' and so on) depending on the traditions and history of each concrete family.' (The document is dated 20.06.2002.) However, in the political situation that prevails in Krasnodar Territory, being an Armenian is 'unprofitable' and dangerous (as evidenced by the destruction of Armenian tombstones all over the Territory, for example in Krasnodar and Korenovsk; the unpunished destruction of commercial buildings belonging mainly to ethnic Armenians in Slaviansk-na-Kubani), as is being a Meskhetian Turk. In an attempt to resolve their ethnic identity, the Hemshil leaders originally chose a strategy of 'independence'. It is very likely that continuing political practices have laid the ground for (or rather, practically created) a new, fully fledged Ethnos' (Kochergin, 2020). However, subsequent developments have revealed a powerful thrust towards Turkish identity. This is linked with some activities of the USA State Department in developing a programme under which the Meskhetian Turks of Krasnodar Territory could be received as refugees. Confronted by this situation the Hemshils have again designated themselves as a sub-group of the Meskhetian Turks, 'Hemshil-Turks'. This tactic could also have a result of the keen interest that international human rights organisations have taken in the Meskhetian Turk question. Hemshils have clearly taken this initiative in the hope of quickly receiving status within or outside the Russian Federation, based on a calculation that they will receive the maximum resonance among the international community. This situation offers one the opportunity to see, practically before one's own eyes, how the discriminatory discourse and policies of the Krasnodar authorities, in setting the interests of different ethnic groups against each other, becomes a significant factor in forming an ethnic group identity, including Hemshil identity, that is 'unstable' or 'nomadic'.

HEMSHIL SOCIAL ORGANISATION

In my opinion, the development of an independent Hemshil identity is linked with attempts to set up Hemshil organisations, in essence, an institutional core. In 1994 the idea had not taken hold, as the Hemshil community felt that the problems they were facing could be better resolved alongside the Meskhetian Turks in one organisation 'Vatan'. In 2001 the idea revived



and began to come to the fore. All the necessary documents were submitted to the relevant department of the Ministry of Justice in Krasnodar Territory. However, because of a change in the procedure for registering organisations with the Ministry of Justice, the matter remains ‘on the back burner’ to this day. The problem is not merely one of bureaucratic delays¹⁵, but also of vacillation on the part of the Hemshils themselves. This vacillation appears to be linked to changes in the current situation, that is, the offer of political asylum that may be issued by the USA to Meskhetian Turks from Krasnodar Territory. The commotion caused in the Territory by the news that ‘America is going to take the Turks’, evoked a retranslation of the discourse myth about the ‘indigenous population’ (by which they mean the Cossack population, Russians and occasionally some mention is made of Adygi-shapsugi), and ‘non-indigenous’ (everyone else). Responding to the news, the Governor of Krasnodar Territory A.N. Tkachev spoke on television and in the press in the following vein, ‘This information rather surprises me as no one has approached us officially. If such is the case, the local authority will not object. It is a private matter between the Meskhetian Turks and the Americans. Moreover I want to say that the Meskhetian Turks are not natives of the Kuban. They can take these decisions independently. We will have no objections. On the contrary, we will support this process.’ This official reaction could not have been clearer, and one can only imagine the degree of agitation among the Hemshil leaders, who for a period were left with no trustworthy, direct, firsthand information. In such a heightened atmosphere a telephone call from the administration of the *stanitsa* Kubanskaya (Apsheronsk district) brought the prevailing fear and confusion to its apogee. The member of the Apsheron district council who has responsibility for nationality issues was demanding that lists be compiled within one week of those who wished to emigrate. The Hemshil leaders were above all afraid that they were being misled, that the whole ‘show’ could be merely a loyalty test ‘it occurred to me that this could be a test, someone was dangling bait before us like in 1937. Immediately I was thrown into confusion. I was afraid for myself, my children, for the young people, most of whom want to leave. We were driven into a corner politically.’ (Hasan Salikhogly, Hemshil leader) Clearly, the historical parallels were too obvious. The community leaders did not provide the lists, insisting on a meeting where all three sides (the American representatives, Hem-

¹⁵ The spiritual leader of the Hemshils, Hasan Salikh, village of Vpered, tells: ‘The security services arrived, asking, “Why do you want to register the Hemshil community council?”, I said, “I want to work with the young people, so they will know where they came from and where they are going. They should know who they are. Every nationality has its council, why shouldn’t we?” E.A. Nikitin took the matter of registering our organisation in hand. At the end of December [2002] he promised to call, but no call has come.’

shils and local authorities) could discuss the American proposal. However the lists were not needed as the American initiative, for some unknown reason, was not carried through. And the Hemshil leaders are again talking about registering their organisation...

The metamorphoses in Hemshil identity that I have described above appear to have peaked, but the process is not yet at an end. This research vividly demonstrates the extreme flexibility and suppleness of ethnic identity, continually reacting to social change and particularly to social disruption that threatens disaster for the ethnic community. The conclusion is not a novel one. The research illustrates the theses of constructivist researchers, 'Identity changes when for some reason it becomes a problem. ...Radical changes in the social structure can be a factor when accompanied by changes in the prevailing psychological reality' (Berger & Luckmann, 1995, p. 289). It is precisely these processes that have been at play and that continue to prevail in the case of the Hemshils.

ACKNOWLEDGMENTS

I wish to thank all my informants, my Georgian interpreter in Batumi D. Tebidze, Caucasus Studies scholar Sergey A. Arutyunov, my academic mentor I. Kuznetsov and my colleague, sociologist H. Chilingirian (Oriental Institute Oxford University, United Kingdom) for their help. I wish to extend my heartfelt thanks to my friend and colleague Mary Murphy for selflessly volunteering in translations.

The earlier version of this study was published in Russian: *Drifting Identity: The Case of Hemshinli. Diasporas, Independent Academic Journal*. Moscow, 4/2004, pp. 85-104. [Дрейфующая идентичность: случай хемшилов (хемшинов). Диаспоры. *Независимый научный журнал*, 2004, (4), стр. 85-104].

This research is devoted to my grandmother Arphenik Mkrtchian, who lived an arduous life in volatile frontier of *Black Garden* – Mountainous Karabakh, alpine village of Dahraz.

References

- Anderson, B. (2001). *Imagined Associations*. Moscow. (In Russian)
- Batsashi, T. N. (1988). The ethno-religious make-up of the population of North-eastern Anatolia in the 19th and 20th centuries. *PhD dissertation*.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1995). *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Moscow. (In Russian)
- Bhabkha, H. (1990). *Nation and Narrative*. Psychology Press.
- Bhabkha, H. (1994). *The Location of Culture*. London, New York: Routledge.



- Bourdieu, P. (1994). *Origins*. Moscow: Socio Logos. (In Russian)
- Bryer, A. (1985). The theme of Greater Lazia and the Land of Arhaket. In A. Bryer, & D. Winfield, *Section XXVI, The Byzantine monuments and topography of the Pontos* (pp. 335-343). Washington: Harvard University.
- Bryer, A. (1988). Some Notes on the Laz and Tzan. In A. Bryer, *Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900*. London: Variorum Reprints.
- Gordlevskii, V. A. (1962). *Collected Works* (Vol. III). Moscow. (In Russian)
- Hastings, A. (1997). *The Construction of Nationhood*. Cambridge University Press.
- Hobsbawm, E. (1998). *Nation and Nationalism After 1870*. St Petersburg. (In Russian)
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (1983). *The Invention of Traditions*. Cambridge University Press.
- Kedourie, E. (1960). *Nationalism*. Hutchinson.
- Khanzadian, S. (2002). A Scandalous Refusal. In B. G. Torlakian, *Torlakyan, Ethnography of Hamshen Armenians. Collection of articles and materials*. Amshen-skaia Biblioteka, (2). (In Russian)
- Kochergin, A. A. (2020). *Realities 'Migration Policy' Krasnodar Territory authorities*. Retrieved from Center for Pontic and Caucasian Studies: <http://history.kubsu.ru/centr>
- Kurylev, V. P. (1992). Some small ethnic groups of southern Kazakhstan (Greeks, Kurds, Turks, Khemshili). In V. P. Kurylev, *Materials of field ethnographic studies 1988-1989*. St. Petersburg. (In Russian)
- Kuznetsov, I. (1995). *Costumes of the Pontic Armenians. The Semiotics of Material Culture*. Moscow: Vostochnaya literatura. (In Russian)
- Kuznetsov, I. (2000). Turkish Hemshils or islamized Armenians? *Diasporas*(1-2).
- Megavorian, A. P. (1904). Towards the issue of ethnographic conditions for development of the peoples of the Chorokhsk basin. *IKOIRGO (Tiflis)*, 17(5), (In Russian)
- Melikset-Bekov, L. M. (1950). Pontica Transcaucasica Ethnica' (based on the data of Minaia Medici from 1815 to 1819). *Soviet Ethnography* (2), 163-175. (In Russian)
- Mgeladze, N. V., & Tunadze, T. K. (2003). *From the history of the Hemshins of Eastern Turkey and South-West Georgia, Archaeology, Ethnology and Folklore of the Caucasus. Materials from an international Conference*. Erevan: Echmiadzin.
- Nekrich, A. M. (1978). *The Punished Peoples. The deportation and fate of Soviet minorities at the end of the Second World War*. New York: W.W. Norton & Company Inc.
- Nisbet, R. A. (1969). *Social Change and History*. New York: Oxford University Press.
- Starchenkov, G. I. (1990). *The population of the Turkish Republic. A Demographic and economic study*. Moscow: Nauka. (In Russian)

The newspaper (2001, March). *The newspaper of Armenians in the South of Russia Erkramas* (6), 8.

The Newspaper. (2002, July 11-14). *Novaya Gazeta* (49). (In Russian)

Vaux, B. (2001). *Hemshinli: The Forgotten Black Sea Armenians*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20070315154048/http://www.uwm.edu/~vaux/hamshein.pdf>

Vaux, B. (2007). Homshetsma: The Language of the Armenians of Hamshen. In H. Simonian (Ed.), *The Hemshin. History, society and identity in the Highlands of Northeast Turkey* (pp. 257-278). New York: Routledge.

Voronkov, V. I., & Osvald, I. (Eds.). (1998). *Construction of ethnicity*. Saint Petersburg. (In Russian)

Список литературы

Batsashi, T. N. (1988). The ethno-religious make-up of the population of North-eastern Anatolia in the 19th and 20th centuries. *PhD dissertation*.

Bhabkha, H. (1990). *Nation and Narrative*. Psychology Press.

Bhabkha, H. (1994). *The Location of Culture*. London, New York: Routledge.

Bryer, A. (1985). The theme of Greater Lazia and the Land of Arhaket. In A. Bryer, & D. Winfield, *Section XXVI, The Byzantine monuments and topography of the Pontos* (pp. 335-343). Washington: Harvard University.

Bryer, A. (1988). Some Notes on the Laz and Tzan. In A. Bryer, *Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900*. London: Variorum Reprints.

Hastings, A. (1997). *The Construction of Nationhood*. Cambridge University Press.

Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (1983). *The Invention of Traditions*. Cambridge University Press.

Kedourie, E. (1960). *Nationalism*. Hutchinson.

Kochergin, A. A. (2020). *Realities 'Migration Policy' Krasnodar Territory authorities*. Retrieved from Center for Pontic and Caucasian Studies: <http://history.kubsu.ru/centr>

Kuznetsov, I. (2000). Turkish Hemshils or islamized Armenians? *Diasporas*(1-2).

Melikset-Bekov, L. M. (1950). Pontica Transcaucasica Ethnica' (based on the data of Minai Medici from 1815 to 1819). *Советская этнография*, (2), 163-175.

Mgeladze, N. V., & Tunadze, T. K. (2003). *From the history of the Hemshins of Eastern Turkey and South-West Georgia, Archaeology, Ethnology and Folklore of the Caucasus. Materials from an international Conference*. Erevan: Echmiadzin.

Nekrich, A. M. (1978). *The Punished Peoples. The deportation and fate of Soviet minorities at the end of the Second World War*. New York: W.W. Norton & Company Inc.

Nisbet, R. A. (1969). *Social Change and History*. New York: Oxford University Press.



- The newspaper (2001, March). *The newspaper of Armenians in the South of Russia Erkramas* (6), 8.
- Vaux, B. (2001). *Hemshinli: The Forgotten Black Sea Armenians*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20070315154048/http://www.uwm.edu/~vaux/hamshein.pdf>
- Vaux, B. (2007). Homshetsma: The Language of the Armenians of Hamshen. In H. Simonian (Ed.), *The Hemshin. History, society and identity in the Highlands of Northeast Turkey* (pp. 257-278). New York: Routledge.
- Андерсон, Б. (2001). *Воображаемые сообщества*. Москва
- Бергер, П., & Лукманн, Т. (1995). *Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания*. Москва.
- Бурдые, П. (1994). *Начала*. Москва: Социо Логос.
- Воронков, В. И., & Освальд, И. (ред.). (1998). *Конструирование этничности*. Санкт-Петербург
- Газета. (2002, July 11-14). *Новая газета*, (49).
- Гордлевский, В. А. (1962). *Избранные сочинения* (Том III). Москва.
- Кузнецов, И. (1995). *Одежда армян Понта. Семиотика материальной культуры*. Москва: Восточная литература.
- Курылев, В. П. (1992). Некоторые малые этнические группы Южного Казахстана (греки, курды, турки, хемшилы). В В. П. Курылев, *материалы полевых этнографических исследований 1988-1989*. St. Petersburg. (In Russian)
- Мегаворян, А. П. (1904). К вопросу об этнографических условиях развития народностей Чорохского бассейна. *ИКОИГРО (Тифлис)*, 17(5).
- Старченков, Г. И. (1990). *Население Турецкой республики. Демографо-экономический очерк*. Москва: Наука.
- Ханзаян, С. (2002). Возмутительный отказ. В Б. Г. Торлакиан, *Этнография амшенских армян. Сборник статей и материалов*. Амшенская библиотека, (2).
- Хобсбаум, Э. (1998). *Нация и национализм после 1870*. Санкт-Петербург.

CAUCASIAN PRISONERS, OR HOW GEORGIAN INTELLECTUALS INVENT TRADITIONS AND (RE)PRODUCE MEANINGS

Maksym W. Kyrchanoff (a)

(a) Voronezh State University. Voronezh, Russia. Email: maksymkyrchanoff[at]gmail.com

Abstract

The author of the article analyses various cultural tactics, practices and strategies that Georgian intellectuals used for the invention of traditions and the (re)production of meanings. The author presumes that various cultural practices and social strategies of Georgian intellectuals became the main incentives for the transformation of traditional local groups into the Georgian modern nation. The history of the 20th century promoted the fragmentation of Georgian intelligentsia. The disintegration of the USSR, the restoration of state sovereignty and political independence of Georgia became powerful stimuli for the radical and deep fragmentation of the thinking-class into intelligentsia and intellectuals. The author states that intelligentsia and intellectuals coexist in modern Georgia simultaneously, but this social and cultural cohabitation is temporary because the intelligentsia became an endangered social and cultural category. Georgian intellectuals are genetic heirs of the old intelligentsia. The permanent voluntary and forced participation in the imagination of the nation and the invention of traditions as the formation and promotion of new myths brings together intelligentsia and intellectuals. The dynamics of the 20th century turned Georgian intellectuals into cultural hostages of modernization and processes of constant (re)production of the identities and meanings, including nation, space, freedom, independence etc.

Keywords

Georgia; intelligentsia; intellectual communities; intellectuals; nation; nationalism; myths; intellectual history



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ, ИЛИ КАК ГРУЗИНСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ИЗОБРЕТАЮТ ТРАДИЦИИ И (ВОС)ПРОИЗВОДЯТ СМЫСЛЫ

Кирчанов Максим Валерьевич (а)

(b) ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет. Воронеж, Россия.

Email: [maksymkyrchanoff\[at\]gmail.com](mailto:maksymkyrchanoff[at]gmail.com)

Аннотация

Автор статьи анализирует различные культурные тактики, практики и стратегии, которые грузинские интеллектуалы используют для изобретения традиций и (вос)производства смыслов. Автор полагает, что различные культурные практики и социальные стратегии грузинских интеллектуалов стали основными стимулами для трансформации традиционных локальных групп в современную грузинскую нацию. История 20 века содействовала фрагментации грузинской интеллигенции. Распад СССР, восстановление государственного суверенитета и политический независимости Грузии стали мощнейшими стимулами для радикальной и глубокой фрагментации мыслящего класса на интеллигенцию и интеллектуалов. Автор полагает, что интеллигенция и интеллектуалы сосуществуют в современной Грузии одновременно, но это социальное и культурное совместное пребывание является временным, потому что интеллигенция как социальная и культурная категория встала под угрозу. Грузинские интеллектуалы являются генетическими наследниками старой интеллигенции. Постоянное добровольное и вынужденное участие в воображении нации и изобретение традиций как формирование и продвижение новых мифов роднит представителей интеллигенции и интеллектуалов. Историческая и политическая история и динамика 20 века превратила грузинских интеллектуалов в культурных заложников модернизации и процессов постоянного воспроизводства идентичностей и смыслов, в том числе, таких как нация, государство, свобода, независимость и т.д.

Ключевые слова

Грузия; интеллигенция; интеллектуальные сообщества; интеллектуалы; нация; национализм; мифы; интеллектуальная история



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

FORMULATION OF THE PROBLEM

Modern nations are the main political actors in the contemporary world, and it is generally agreed today that their histories are extremely short. First nations, in present-day political and civil sense, appeared in Europe after the historic triumph of capitalism, and bourgeois revolutions became the main incentives for the politicisation of dynastic states and their further transformation into nation-states. Peasant communities and urban groups which had traditional identities became political nations. These processes had a universal all-European character, but the social speed and paces of political and cultural transformations in the Greater Europe from Portugal to Georgia were uneven and different. The European peripheries embarked on the path of political transformation, dropped the shackles of tradition and became political nations later than the states of the historical, political and economic hard core of Europe. The processes of transformation of traditional groups into nations were extremely different, but the forms of these cultural changes and social mutations of archaic identities and communities in the modern ones were universal.

It is undeniable that institutions of identity and production of meanings and senses became two factors that nourished nationalisms (Gelneri, 2003; Smit'i, 2004; Hech'teri, 2007; Hobsbaumi, 2012; Amirgulashvili, 2013), inspired and stimulated nationalists to transform traditional communities into nations and forced dynastic states to change and become nation states. The first thing that has to be said is the following: intellectuals played special or leading roles always and everywhere in the history of nationalisms and political parties that were ambitious enough to change the status of a physical geographical territory to a more prestigious status of cultural, political or economic regions or states. These new states belong to a number of dynamically changing, transforming and nationalizing societies, despite the fact that they could have developed political and state traditions in the past. Such states, which were parts of multinational empires or multi-component non-democratic states, tend to transform ethnic nations into political nations and modernise formal states in nation-states. The role of intellectual communities in these societies is obvious and it is impossible and senseless to ignore it. Georgia is one of those post-Soviet and post-authoritarian states where intellectuals play a significant role in the functioning of the actual political regime and its legitimating.

THE PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE ARTICLE, OR WHAT IS THIS ARTICLE ABOUT?

Analysis of traditional institutionalised forms of generation of identities and national meanings, including academic institutions, is the main



purpose of this article. Analysis of the institutions of identity as the imagined factories where intellectuals invented political traditions and generated meanings is the main task of this article. The author also analyses the role of intellectuals as the main generators of meanings because they propose political invented traditions and legitimise nations and states they live in.

Structurally, the article consists of two large sections. The author analyses the main traditional institutions and their tactics of the invention of political traditions, including the geographical imagination in the first part of the article. The author analyses the roles, statuses, tactics, and strategies of the Georgian intellectual community in the second part of the article, presuming that intellectuals are responsible for the invention of traditions and their national meanings.

The author will analyse the role of Georgian intelligentsia and intellectual communities in the political life of Georgia. The author presumes that intellectuals are important participants in the political processes, but their roles and historical significance are in the shadow of other more topical subjects of modern Georgian political history. Analysis of institutions and the production of meanings of identity is the main objective of this article. The author will try to analyse how the institutions of identity legitimize the nationalistic political project in Georgia. The author will also analyse how Georgian intellectuals involved in numerous processes and forms of invention, imagination, and production of meanings formulate political and cultural spaces, integrating them into the standardized and unified canons of national identity. Therefore, this article has several tasks in addition to the main one mentioned above. The tasks of this article are as follows: analysis of the forms of political activity of Georgian intellectuals; the study of fragmentation of the Georgian intellectual community; analysis of the role and significance of intellectuals in the development of Georgian identity and political nation.

GEORGIAN INTELLECTUALS AS HOSTAGES OF MODERNIZATION

The dynamic rise and historical success of institutions of identity and the production of meanings and senses stimulated political, social, cultural and intellectual changes and transformations in Georgian society. Intellectuals who imagined and invented identities strive to do it because they wanted to actualize the features of the community they belonged to, and to prove that they are radically different from other ones. One of the Georgian intellectuals of the period of the First Republic tried to fix this component in the national identity and argued that “our sharp subjectivism is unknown to the Russians. The ancient Slavs, as historians claim, cut off the heads of

their victorious commanders: they could not accept the individuality that towered above the middle level. The propensity to monotony became the characteristic feature of the Russians... We will never reconcile ourselves with this kind of egalitarianism and centralism... our neighbours do not accept our subjectivism. Therefore, spiritually, we will always remain strangers to one another” (Kikodze, 1919).

The academic community, in general, tends to believe that European nationalisms generated their own institutions for the reproduction of identity, and intellectuals endowed them with meanings and new senses that legitimised the nations and national states of their dreams. Institutions of identity were extremely diverse. In fact, the intellectual, cultural and social practices of nationalists were attempts to invent, imagine and produce meanings for legitimating and glorification of nationalisms and all these efforts of nationalists were their impacts to legitimate nations they belong to or dreamed about. Secondary school, universities, public and private media, political parties, folklore organisations, choirs, ensembles, ethnographic societies, cultural communities, and associations became social and political institutions that monopolised functions of imagination, invention and reproduction of political and ethnical identities for national or dynamically nationalizing states. The intellectuals involved in the activities of these institutions formed, imagined, invented and constructed the identity of the nation and the Georgians were not excluded from this politically universal and historically inevitable logic of modernizations and transformations of archaic and traditional communities into modern nations.

It is clear from these observations that Georgian nationalism and Georgian nation (Zedania, 2009; Kakitelashvili, 2012) did not become exceptions from this universal logic of the development of nationalism, the invention of nations as imagined communities and invented traditions. The modern Georgian nation became a political and civil nation later than other European nations. The Soviet political experiment became a powerful stimulus for the transformation of traditional communities into a nation with political and state attributes. The forced Soviet modernization transformed traditional and archaic communities radically and decisively, forced them to change and become a political Georgian nation. Soviet modernization provided Georgians with the necessary institutions of identity, including the secondary school, universities, state media, folklore organisations, choirs, ensembles, ethnographic societies, and cultural associations. Political parties and independent media as institutions of identity emerged in the post-Soviet period. National history and literature, which also became invented traditions, arose in the pre-Soviet era, but Georgian intellectuals rewrote and reimagined them several times in the 20th century and these in-



stitutions of identity were less stable because they depended on political situations and ideological conjunctures. Georgian intellectuals involved in the activities of these institutions which imagine and invent Georgian nation and provide it with symbolic and real political and cultural meanings became historically necessary captives who victimised themselves in their individual and collective attempts to legitimise the fact of the historical existence of the nation they belong to.

Secondary school and universities are primary institutions that form and reproduce identity simultaneously. Schools and universities, as social institutions, unlike intellectual communities, do not generate new senses and meanings of identity; they only translate and reproduce identities suggested by the intellectuals. The school and universities in Georgia are important links in preservation, reproduction, and broadcasting of the national Georgian identity. The school became the primary institution that is responsible for the formation of national identity and the transformation of children into citizens with political and national identity. Georgian history, literature, and language belong to the number of subjects with the systemic importance for the formation and reproduction of national identity. Studies of history are extremely important in the context of methodological and theoretical changes in the main approaches Georgian intellectuals used and practised since the critical moment when Georgia regained its political and state independence. The theoretical and methodological approaches in studies of national literature also changed. Humanities were nationalised at the secondary and higher schools of independent Georgia. These processes actualised their instrumentalist and servilist roles and purposes of knowledge in the dynamically nationalizing societies. Georgian universities (gurgendze, 1988; metreveli, 1998; metreveli, 1996; jorbenadze, 1988; tadzari, 2000; metreveli, 2003; jorbenadze, 1968) in general and their humanitarian departments in particular, including historical and philological faculties, engage in the collective realisation of the servilist duties and are less responsible than the secondary school. Georgian university intellectuals as heirs of the old Soviet Georgian national intelligentsia and part of heterogeneous European intellectual communities simultaneously prefer to invent, imagine and offer meanings, when the secondary school simplifies and uses them for the socialisation and nationalisation of new generations of Georgian citizens.

GEORGIAN INTELLECTUALS AS PRISONERS OF FORMAL ACADEMIC INSTITUTIONS

The old academic institutions that form Georgian National Academy of Sciences became the traditional social and cultural places of residence

for the old Georgian intelligentsia. These institutions are involved in the production of identity and the invention of national meanings, but representatives of the traditional Georgian intelligentsia prefer to invent meanings in an archaic way and use traditional forms for the promotion of new senses of identity. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature and Korneli Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts are two iconic, typical and symbolically important academic institutions that produce a traditional model of academic historical knowledge and generate new meanings of the national Georgian identity simultaneously. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature with its outdated and archaic site belongs to the post-Soviet or even neo-Soviet academic institutions that became reservations for representatives of the older generation of Georgian intelligentsia. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature as other state scientific organisations “produce” academic knowledge in its traditional and almost positivist understanding.

The subjects and directions of the academic activities in the Institute are traditional, and most of them are focused on the history of Georgian literature in its eventual or personified contexts. Georgian intellectuals from Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature participate in production of meanings but prefer to do it archaically because they imagine the positivist grand narratives. Synthetic versions of the history of Georgian literature, Shota Rustaveli Institute propose, are eventual and linear in their inner logic because they combine medieval traditions, realistic classics, modernity, the Soviet period and contemporary epoch. Attempts to localise the legacy of the literature of Georgian emigration does not change this harmonious scheme radically. Korneli Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts also participates in the invention of meanings but prefers to do it differently than other traditional academic institutions. Korneli Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts is more active than other academic institutions in its attempts to use contemporary means of communication. Kekelidze Centre has its own pages on Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, and YouTube channel. Korneli Kekelidze Centre plays an instrumentalist role and actualises the ancient and Kartvelian ethnic character of Georgian identity. The social and cultural roles of the Centre have much in common with the functions of the Armenian Matenadaran.

The Centre visualises symbolic and sacred dimensions and levels of Georgian identity. Traditional texts and manuscripts became the raw material for the invention of the modern nation and new forms, senses, and meanings of national identity. The Centre is successful in its attempts to find a place for a medieval heritage in the modern world, and localise it in the invented ethnocentric national identity. Korneli Kekelidze Georgian



National Centre of Manuscripts attempts to instrumentalise identity and actualise the potential of the ancient ethnic cultural, linguistic and literary heritage in the post-modern contexts. Other projects of Georgian academic institutions have the same tasks in the contexts of imagination and invention of identity, and in production of meanings and senses. The Rustaveli Committee focus on preservation and analysis of Shota Rustaveli's legacy and heritage. Traditional academic institutions and centres imagine and invent the meanings of identity in their modern understandings and attempt to modernise and integrate the archaic, ethnic and Kartvelian origins and foundations of Georgian nation in the heterogeneous and numerous contexts of the globalizing world.

GEORGIAN INTELLECTUALS AS HOSTAGES OF NATIONAL AND EUROPEAN MYTHS

Georgian intellectual community (Dzigua, 2009; Makharadze, 1997; Maghlap'eridze, 2005) is a more important institution of identity which is responsible for the production of meanings. The problems of definition of nature and status of the thinking minority or intellectual class in Georgia are extremely controversial. The thinking class of the Soviet period was known as intelligentsia. The Georgian national intelligentsia, on the one hand, as their counterparts in other post-Soviet countries suffered very much during the transition period and became victims of social and economic marginalization (Barbak'adze, 2010). On the other hand, part of the intelligentsia was able to adapt and became intellectual communities. Contemporary Georgian intellectual communities are not familiar with the concepts of unity and unanimity in their Soviet radical understandings. Therefore, the intellectual spaces of contemporary Georgia are too fragmented. The pro-Western and pro-European part of the old Soviet Georgian intelligentsia, which latently and secretly cultivated European identities and ideas during the Soviet period, was able to adapt to contemporary realities successfully and became part of Georgian intellectual communities. This segment of Georgian intellectual space is responsible for the genesis, imagination, invention, and production of national senses and meanings. These Georgian intellectuals rewrote the old Soviet versions of history because the dominance of communist ideology and the class approach ceased to satisfy them. Georgian intellectuals rejected the old versions, tactics, and strategies of the national history writing and replaced them with new ones rooted in ethnocentrism. Georgian intellectuals proposed a new national pantheon of the founding fathers of the nation, rejected the old Soviet heroes and replaced them with new and 'more national' images, including

representatives of Georgian emigration and activists of the national anti-communist and anti-Soviet movement.

Institutes of identity in contemporary Georgia are represented by institutions in the traditional sense as institutionalised organisations and institutions as processes that significantly influence the basic trajectories and directions of identity development simultaneously. These processes of identity, including clericalisation and secularisation, are mutually exclusive, but present-time Georgia exists and develops in the contexts of these two trends. The intellectual communities of Georgia are actively responding to threats of clericalisation and secularisation. Secularisation in Georgia as in other peripheral regions of Europe developed more slowly than in the central regions of Europe. The role of the Orthodox Church in Georgia was comparable to the influence of the Catholic Church in Poland, Lithuania or Spain. Therefore, the starting conditions for secularisation were extremely negative because Georgian society was traditional. Secularisation was the result of a coercive policy of modernization initiated by the Bolsheviks who 'sovietised' Georgia.

Despite all attempts of atheisation and forced secularisation of Georgia during the Soviet period, Georgia was among those Soviet republics where the role of church and religion in social and cultural life was more significant and visible than in other republics. Religion and the church became the collective heroes of Georgian Soviet culture and literature. Georgia was among those republics where local authorities destroyed churches and temples less actively than the authorities of other regions. Therefore, Georgian society was more religious than the societies of other Soviet republics. Georgia, in this cultural and intellectual situation, was more prepared for the religious revival and radical clericalisation of society and culture that prevailed in Georgia after the republic restored state and political independence and sovereignty. The restoration of Georgian political independence became an incentive for the clericalisation of society. It did not exclude the cessation and further development of secular political and intellectual trends in cultural evolution. Georgian liberal intellectuals who believe that the Orthodox Church is dead and not ready to debate and discuss certain items with society (khvich'ia, iago. personaluri snobi....; urushadze, ilia; badoiani, norik...) became the main critics of the Orthodox Church as the initiator of the archaization and clericalization of society.

The period of Mikheil Saakashvili became the golden age in actual Georgian history for pro-American oriented liberals who promoted the project of resolute Westernisation and democratisation. They also reinforced the secular foundations of contemporary Georgian statehood. The assertions that Georgian intellectual communities are very heterogeneous and



fragmented became common place in historiography, but the political preferences of Georgian intellectuals predetermined these internal schisms. Giorgi Maisuradze (maisuradze, giorgi. polarisats'ia...) presumes that Georgian society has much in common with Italian because the left minority supports leftist ideas and prefers to criticise the church as too archaic and traditional institution. Criticism of the Orthodox Church in the 2000s was not a criticism of Orthodoxy in particular; opponents of the church preferred to actualise its traditional and archaic character in general. Therefore, Georgian intellectuals in modern Georgia fluctuate between the poles of clericalisation and secularisation continuously and constantly.

The Orthodox Church became an important factor in cultural, social and political life of contemporary Georgia, and Church hierarchs became media figures also. The clericalisation of cultural and social life became a very controversial process in Georgia because Georgian intellectuals failed in their collective attempts to create a consolidated community. The Georgian church reacted to the weakness and indecisiveness of secular intellectual communities promptly and actively. Hierarchs and representatives of the Church realised and understood that secular society could not overcome the traumas of post-communist transformations. They decided to show initiative and proposed an alternative path of development that excluded the achievements and successes of modernization and secularization. On the one hand, Georgian intellectuals are far from the total unification of their opinions. On the other hand, Georgian intellectuals are dependent on ideological conjuncture and influence of political elites. Georgian intellectuals prefer to compare their ideas with the positions of the authorities and ruling political elites.

Therefore, Georgian intellectuals are very fearful and dependent on external influences and controls, including financial dependence on the state (beriashvili, levan. sakhelmtsip'o kapitalizmi...) which continues to be the main sponsor of the formalised Georgian national culture. Georgian intellectual discourse develops as heterogeneous, and attempts to transplant Western approaches, and popularise the heritage of European philosophy of the 20th century (Elizbarashvili, 2012; T'inikashvili, 2012; Berekashvili, 2012; Elizbarashvili, 2014) will coexist with formal and imitative practices of representatives of the old Georgian intelligentsia from traditional academic institutions. New and old Georgian intellectuals participate in the processes of reproduction and imagination of meanings equally, but the projects of identity and nation invented by them can be diametrically opposed and mutually exclusive. Georgian society reacted several times to social and religious challenges in the 1990s and the 2010s, but the reactions of the church and the intellectual community were diametrically opposed

and mutually exclusive. If the Church became the source of archaization and clericalization of society because it defended traditional values consistently and condemned the representatives of sexual minorities strongly, then the intellectual communities which were heterogeneous and their social and cultural reactions were also extremely diverse. Despite the amorphism of the modern Georgian intellectual community, intellectuals tried to resist the tendency of the clericalization of Georgian society occasionally.

Zaza Burchuladze's novel "Inflatable Angel" (Burchuladze, 2011) became an attempt of the Georgian society to react to mutually exclusive tendencies of secularization and clericalization. The novel has something in common with Mikhail Bulgakov's "Master and Margarita", but these similarities are formal only. Georgiyi Gurdjieff, as a representative of the early modern culture, who accidentally ended up in present-day Georgia where consumerism supplanted the national idea, became the main hero of the novel. The motives of postmodernism are combined with the images of a traditional archaic fairy tale and myth. Therefore, Foucault is no more than the dog's name and the local criminal authority rustles turns into a semi-living wooden folk sculpture, a local saint and healer. The novel became an important impact on the development of the invented traditions of Georgian identity in a post-modern society that lost its stable links with the traditional culture and social bases of the Georgian political nation. The novel actualised the folk archaic traditions and tendencies of the rising consumer society simultaneously.

The novel was an attempt to revise the traditional foundations of the Georgian political and national identity, the role of faith and religion in the development of the Georgian national consciousness. If Gia Nodia stated timidly that he does not understand why Konstantine Gamsakhurdia has the reputation of the greatest Georgian writer, then Zaza Burchuladze (Kharbedia, 2012; Vanishvili, 2011) turns the foundations of the Georgian identity upside down: a bandit and a robber with the name of the Georgian academic-philologist Chikobava becomes an Orthodox saint and a righteous man in one of his novels. Other heroes have the names of the best representatives of Georgian intelligentsia of the 20th century also, but no one understands them and does not feel connections and links with the historical forms of Georgian identity. The novel has a revolutionary character in the context of attempts to question the religious Orthodox roots and the backgrounds of the Georgian identity. The novel actualised its revolutionary message in a transit society where part of the society retains its religious preferences when other segments were involved in secularisation processes, and the intelligentsia could not adequately meet the challenges of secularization and the threats of clericalization.



The novel became a symbolic proof of the fact that Georgian identity is a political, social and cultural construct because the author actually revisited, imagined and invented Georgian identity again. Zaza Burchuladze actually cut out Georgian classics from their traditional cultural and social landscapes, including school textbooks and synthetic versions of the history of Georgian literature. Zaza Burchuladze dismantled archaic ideas about the history of Georgian literature, the pantheon of classics and founding fathers, replaced them with a collection of oddities and anecdotes about the adventures of the Georgian from the past in the post-contemporary Tbilisi. The novel became an attempt to invent territorial forms and dimensions of Georgian identity because Tbilisi appears as an invented tradition and a collective hero in the text simultaneously. The novel was an attempt to overcome the carnival traditions in Georgian culture because Zaza Burchuladze attempted to deconstruct collective and individual faith in a miracle, but Georgian society was not ready to break with its past and faith in the golden age and national utopia finally and decisively.

Actually, the novel became a literary fiction and it has nothing in common with Georgian cultural, political and everyday realities, but the text can be imagined as real because Georgian society exists and develops as a society of invented traditions. Therefore, reading a novel does not stimulate the complexity of readers who perceive it as another invented tradition. Despite the desire to part with the carnival and laughing culture as the form of Georgian identity Zaza Burchuladze, on the one hand, actually plays different forms of Georgian identity by himself. On the other hand, Zaza Burchuladze, in spite of his attempts to actualise new tendencies in the invented traditions of Georgian identity, does not offer anything fundamentally new because he does not imagine the new golden age of a national ethnic and romantic utopia. Zaza Burchuladze ruthlessly throws his protagonists into the world of new post-national invented traditions where the market monopolised statuses and roles of the invented traditions and mutated into the object of collective worship with elements of madness.

The novel genetically relates to other texts of Georgian literature that became classical ones because Zaza Burchuladze continued to invent and imagine new political traditions. The novel became a deconstruction novel because its author deconstructed the classical myths of Georgian identity as invented traditions that became archaic and could not resist new competitors anymore, but the deconstruction of archaic invented traditions inspired Zaza Burchuladze to invent new political traditions. Literature as an invented tradition in this context inevitably actualises its functions as another imagined factory of identity that reproduces new meanings and senses for old and even archaic political and social institutions. Actually, Zaza Bur-

chuladze's successful literary experiment proved that the Georgian identity and Georgian literature as a frequent case of its development was imagined by Georgian intellectuals of the 19th and 20th centuries as an invented tradition. The novel became, in these intellectual contexts, another Georgian attempt to invent tradition in literature and to reconcile traditional and modern, archaic and secular trends in Georgian identity.

GEORGIAN INTELLECTUALS AS HOSTAGES OF SPACE AND SERVANTS OF THE NATIONAL BODY

The institutions of identity in contemporary Georgia are extremely diverse. The intellectual communities and these institutions including the traditional institutions of institutionalised groups (parties, media, academic organisations) are responsible for the production, reproduction, and generation of new national senses and meanings. Geographical spaces in the modern globalizing world ceased to be objects of physical geography only and exclusively. Intellectuals are responsible for the actualisation of new meanings of spaces in contexts of the development of identity and the idea of a political nation. Intellectuals imagine nations and invent the landscapes they exist in simultaneously.

The nationalized spaces and imagined nations as also invented traditions form an indissoluble unity. Georgian intellectuals did not become an exception to the universal logic of the development of nationalistic imagination and did a lot to transform Georgia into an ideal and idealised homeland. Intellectuals imagined physical geographical spaces as the sacred body of the nation. Historically arisen regions with their physical geographical features were imagined as parts of the sacred and indivisible spatial body of Georgian political nation. According to some experts, the modern political body of Georgian nation in spatial and territorial dimensions includes Adjara or *acharis avtonomiuri respublika* (the Autonomous Republic of Adjara), Guria, Imereti, Kakheti, Mtskheta-Mtianeti, Racha-Lechkhumi and Kvemo-Svaneti, Samegrelo and Zemo-Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Kvemo-Kartli, and Shida Kartli. Modern regions of Georgia became imagined and invented constructs. Therefore, nationalist intellectuals imagining the historical forms of Georgian statehood try to prove and actualise the continuous character of the development of political institutions and the continuity between different regionalised and even localised forms of Georgian statehood. Actually, these intellectual practices became attempts to impart new meanings to Georgian political space as a constantly functioning factory of production and reproduction of meanings and senses.

Therefore, *samts'khe-saat'abago* (XIV-XVI), *k'art'lis samep'o* (the Kartlian Kingdom, 1484 - 1801), *kakhet'is samep'o* (Kakheti Kingdom),



imeret'is samep'o (the Imeretian Kingdom, XV - 1811), *guriis samt'avro* (Gurian Principality, XIV - 1828) (Lort'k'ip'anidze, 1994; Sudadze, 1998; Kozhoridze, 1987; Rekhviashvili, 1989; Rekhviashvili, 1976; Khomeriki, 2012; Ch'khatarashvili, 1985) became collective places of remembrance and geographic invented traditions that form the political body of Georgian nation. These regions emerge as the intellectual and cultural constructs, intellectual attempts to overcome the isolation of physical geography and to propose a new version of political geography of the ideal homeland where each region is part of a symbolic and sacred body of a political nation. Therefore, Georgian intellectuals construct the history of Georgia as a single Kartvelian state and, on the other hand, imagine and invent regional dimensions of Georgian history actively and simultaneously. Actually, these intellectual and cultural practices became attempts to impart new cultural and political meanings to physical geographical spaces.

Regions of Adjara, Guria, Imereti, Kakheti, Mtskheta-Mtianeti, Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti, Samegrelo and Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Kvemo Kartli, and Shida Kartli constitute the administrative structure of modern Georgia, but we should also point out the fact that the political body of Georgian nation lost its unity in the 1990s. The forms of legitimation of the state and the nation change more slowly than the nations and states themselves, they live in, and their intellectuals imagine and invent for needs of political elites. Modern Georgia inherited and received archaic forms of organisation of political space. Collective representations of intellectuals about space are also obsolete because they are rooted in traditional versions of legitimisation. Traditional forms of imagination, invention, and legitimating of the Georgian space as a fortress, where the body of a political nation lives in, change more slowly than space itself. Georgian intellectuals are partly responsible for this because they prefer to use positivistic and ethnocentric models of the imagination of the political territories of Georgian nation.

We cannot ignore the fact that the loss of the territorial integrity of Georgian national spatial body stimulates numerous political traumas of modern Georgian intellectual community and forces intellectuals to produce and reproduce meanings and reinvent political and ideological myths actively and simultaneously. Georgia has lost control over two regions in the 1990s, but Georgian intellectuals had time to imagine and invent them as historically Georgian and integrated them into the sacred body of the Georgian political nation. Adzharia and South Ossetia became these two regions, which form the problematic and sick parts of Georgian political body. Definition of *samkhret' oset'is respublika* (Republic of South Ossetia) is completely alien to the Georgian political consciousness and Geor-

gian identity because it made doubtful the central idea of unity and indivisibility of the Georgian political space. Therefore, Georgian elites, on the one hand, prefer to divide these areas into the other parts of Georgian political and national space, including Shida Kartli, Mtskheta-Mtianeti, Imereti and Racha-Lechkhumi and Zemo Svaneti. On the other hand, the concepts of *qop'ili samkhret' oset'is avtonomiuri olk'i* ("the former South Ossetian Autonomous Oblast") and *ts'khinvalis regioni* (Tskhinvali region) are in active political and public use.

Some Georgian intellectuals use the term *samach'ablo* in their attempts to construct Georgian images and collective ideas about South Ossetia. In August 2008 Georgian elites tried to solve the problem of Ossetian separatism radically and restore the unity of the political body of Georgian nation in spatial and administrative dimensions, but Russian interference into the conflict led to the institutionalisation of the break and separation of South Ossetia from the political body of Georgian nation. Georgian intellectuals imagine the events of 2008 as *ruset'-sak'art'velos omi* or the Russian-Georgian war. The war of 2008 became a serious psychological trauma for Georgian political elites and intellectual communities.

The memory of the war stimulates political imagination and invention of new political traditions, including *sak'art'velos kanoni okupirebuli teritoriebis shesakheb* or "The occupied territories law". *Ap'khazet'is avtonomiuri respublika* or the Autonomous Republic of Abkhazia is the second problematic part of the spatial body of Georgian political nation. Actually, Tbilisi lost control of this region in the 1990s; the military conflict of 2008 institutionalised the destruction of the unity of the political body of the Georgian nation because the Russian Federation recognised the independence of the rebelling regions, including Abkhazia and South Ossetia, but the Georgian political and intellectual elites are united in their solidarity not to recognise this fact because they prefer to ignore the loss of two regions. Therefore, official Tbilisi does not recognise the government of Sukhumi as legitimate and insists that the Government of *ap'khazet'is avtonomiuri respublikis mt'avroba* or the Autonomous Republic of Abkhazia in Exile is the only legitimate body of state power.

The Constitution of the Autonomous Republic of Abkhazia defines Abkhazia as the autonomous part of Georgia [*ap'khazet'is avtonomiuri...*]. Tbilisi did not reconcile itself to the actual loss of control over the territory of Abkhazia but seeks to integrate it and bring it back to the political body and space of the Georgian political nation actively. The government of the Autonomous Republic of Abkhazia in exile is a formalised institution that must imagine and invent Georgian images of Abkhazia, reproduce Georgian centric Abkhazian senses and integrate the region into the Georgian



Kartvelian cultural, political, social and economic contexts and spaces. Therefore, the Government of the Autonomous Republic of Abkhazia promotes Kartvelian centred images of the region, including state symbols. Symbols became forms of visual representation of the political body of the nation and the geographical space of modern Georgian statehood. Official flag and coat of arms of the Government of the Autonomous Republic of Abkhazia combines Georgian and Abkhazian motifs and images, but the first ones dominate and prevail clearly. This flag and coat of arms, recognised by the official Tbilisi and used by the government in exile, became an attempt of symbolic reunification and the return of Abkhazia to the Georgian political space.

GEORGIAN INTELLECTUALS AS HOSTAGES OF THEIR HISTORICAL HERITAGE

Various intellectual groups which became the soil for the formation and progress of the national intelligentsia, arose in Georgia in the 19th century. The Georgian intelligentsia of the 19th century was a breeding ground for the emergence and further rise and development of Georgian nationalism and the ideas of Georgian political and state independence. The history of Georgian intelligentsia in the 19th century had several features that significantly differentiate the social and cultural processes in Georgia from other European countries, including the states of the geographical peripheries. While in other European countries intellectual communities arose historically in wombs of the national bourgeoisie, the nobility and the traditional political aristocracy became the social groups that formed the nucleus of the national intelligentsia in Georgia. By the beginning of the 20th-century Georgian intelligentsia was the leading group that defined the main trajectories and vectors of the development of nationalism.

The period of the Georgian Democratic Republic became a brief epoch of the rise and success of the national intelligentsia, but the 'sovietisation' of Georgia and its transformation into Georgian SSR as part of the Soviet political space changed the general tendencies of the development of the Georgian intelligentsia substantially. The Georgian intelligentsia became a victim of 'sovietisation', but Georgian intellectuals received significant preferences and benefits after they accepted official rules of political and cultural behaviour. The Georgian intelligentsia was forced to demonstrate loyalty to the communist regime, but Georgian intellectuals who lost their freedom, received social benefits and preferences instead. The Communist regime provided the intelligentsia with the monopoly rights of the formation of official canons of humanitarian knowledge. Therefore, Georgian intellectuals had no competitors when they wrote, imagined and in-

vented the great and synthetic official versions of Georgian political history and the history of the Georgian language and literature, imagined as the two fundamental backgrounds of national identity.

The Soviet regime, despite its internal authoritarianism and the desire of Moscow elites to ‘russify’ the national republics, allowed Georgian intellectuals to transform and modernise Kartvelian groups into a Georgian political nation and develop it as an invented tradition. By the late 1980s, Georgian intellectuals made significant progress in the invention and imagination of Georgian nation in its political and ethnic dimensions. The institutionalisation of the nation and nationalists as a social and cultural class became the most important achievements of Georgian intellectual communities. The Georgian intelligentsia was able to imagine the nation as a political class, providing it with the necessary political, cultural and social virtues. The intellectual community in Georgian SSR became the arena of confrontation and struggle between the two most significant and influential political doctrines and ideologies of the 20th century. The principles of the class confronted the values of the nation and Georgia was one of the many arenas of this struggle.

Nationalism proved to be a more adaptive political force and ideology. Nationalism became the sphere where the communist idea was defeated in competition with the inevitable attraction and fascination of the national language, historical myths, and collective beliefs that nation is more natural, normal and inevitable than the ideological and political projects of communism. If Russian nationalists in the USSR turned out to be political marginals and losers who could not resist the universal temptations of communist ideology because the values of the class defeated the principles of the nation, Georgian nationalists were more successful because they were able to turn national values into the fundamental principles of political life in the Sovietised Georgia.

Georgian intelligentsia became an influential and stable group by the time the Soviet Union became the victim of an internal crisis that launched a mechanism of its disintegration. Georgian intelligentsia in independent Georgia became free but it lost its internal unity because the intelligentsia transformed into several different intellectual communities. The processes of political democratisation and economic liberalisation forced Georgian intellectuals to become public intellectuals because the closed model of the Soviet intelligentsia became ineffective in independent Georgia. The processes of transition from authoritarianism to democracy actualised simultaneously three functions of intellectuals that were absolutely alien to the Soviet Georgian intelligentsia. These functions include public role, responsibility of intellectuals and – betrayal of intellectuals. Modernity changed



radically the social and cultural roles, functions and purposes of intellectuals because the hypostasis of an intellectual as an expert marginalized the functions of an intellectual as a prophet. Democratisation and liberalisation transformed former Soviet intellectuals from the cabinet and academic scientists into public and media figures. Involvement in political processes actualised responsibility of representatives of the intellectual community, especially those who became part of the ruling political elites. Political dynamics and instability, heterogeneous nature of Georgian society, ethnic conflicts and wars forced intellectuals to become traitors and collaborators who cooperate with elites and change their political backers.

GEORGIAN INTELLECTUALS AS HOSTAGES OF FAITH IN THE MISSION OF SONDERWEG

The Georgian Soviet intelligentsia had every chance to become an active political class in the late 1980s and early 1990s despite the fact that it differed little from other formally national and in fact Sovietised intellectuals in the union republics because, as Nino Pirtskhalava presumes, “the Georgian intelligentsia as a certain social, external quantitative phenomenon in its structure, internal and external organisation corresponded to the Soviet model” (Pirtskhalava, 1997). The late Soviet and early post-Soviet Georgia belonged to those countries where the intellectuals from academic institutions gained control over the authorities, but this was only an idealistic illusion because the former communist party bureaucracy used all available resources to remove these romantic nationalists from power. Zviad Gamsakhurdia (Gamsakhurdia, 1990; Gamsakhurdia, 2000) as Əbülfəz Elçibəy in Azerbaijan, Levon Ter-Petrosyan in Armenia and Vladislav Ardzinba in pseudo-state of Abkhazia could not use and control political power effectively and ceded it to formal professional politicians who received state experience in the Soviet period.

Russian critic and philosopher Gasan Guseinov (Guseinov, 2012) presumes that intellectuals who control political power can be dangerous to society, but intellectuals in national or dynamically nationalizing states always become faithful servants, representatives, political agents, and the mouthpieces of the nation they belong to, or imagine and invent actively. The advent of nationalist-minded intellectuals into power in the early 1990s was the result of historical and cultural features of the development of the local political class in general and Georgian nationalism in particular. The Soviet regime toughly, cruelly and decisively tamed Georgian intelligentsia and deprived it of opportunities to influence the decisions of the authorities. Georgian writers realised the danger of the passivity of the intelligentsia in the 1930s.

Therefore, Nikoloz Mitsishvili was forced to state: “when I refer to our history, I do not find a higher meaning and a ‘divine hand’ in it. All our existence is the irony of fate, the mockery of providence. A lion and a flea, a devil and an angel, a talent and a pompous arrogance coexist in each of us. The past does not seem complete, monolithic, it was hastily tailored and sloppy glued, scattered in pieces mosaically, and lost also. I do not find the main core, the spine of the Georgian idea, the thought in the history of Georgia... Perhaps the highest meaning, salvation, and justification of Georgia are in Christianity... the cross was constantly cut, was torn from all sides, and torn into pieces. But after all, the cross blessed peace and holiness. Where is this blessing? Is our tragic, bitter and bloody history good? Is it possible that for two thousand years the power and strength of this cross could not bring to life, create fateful phenomena that define its special destiny and idea? Does Georgia lose forever ‘a bright, life-giving pillar that covers every nation’s way of a new word and creativity’?! ... Georgia is a passive phenomenon. Its energy, restricted by external factors (the energy of a worm crushed by a foot), lacked inner activity always... As a result, it was outside the higher and fair court, it lost universal sympathy and justification, its own religion, its confession, and it’s thought...” (Robakidze, 2004).

Sovietisation of Georgia aggravated these psychological and cultural traumas of Georgian intellectual class. Sovietisation of the intelligentsia actualised its servilist functions when it mutated from intellectual communities into an institution of identity. Sovietisation of Georgia led to the emergence of a professional intelligentsia that legitimised the regime willingly and inspired, imagined the nation and invented history. Georgian intellectuals believed naively and idealistically that they invented a national identity, but in fact, they cultivated a myth. The triumph of the ethnocentric national myth inspired, on the one hand, the rise of Georgian nationalism and its radicalisation simultaneously, and on the other hand, it sanctioned the enslavement of Georgian intelligentsia, which understood that it fell into a dependence on power and could not propose any alternative model for the existence of an intellectual class. Therefore, Georgian intellectuals were deported to academic reservations subordinated to the Academy of Sciences. This intellectual emigration, as Nino Pirtshalava defined, in the “realm of fantasy and heroic folklore” (Pirtshalava, 1997) transformed Georgian intellectuals into “myth-makers and only the tragic-comic grimace of the homegrown totalitarian regime of nationalistic persuasion sobered the intellectuals who blessedly stayed in the realm of dreams, pushed them out of it... The magical realm of its history, populated entirely by wise kings and



queens, and the noble and brave knights also... intellectuals realised that this myth-making was not a harmless fun” (Pirtshalava, 1997).

The degree of this understanding was different; the effect was superficial because representatives of the former Georgian intelligentsia who became intellectuals of independent Georgia began to do what they specialised in and what they were able to in the best way. Georgian intellectuals recovered relatively quickly from the moral trauma and the consequences of civil conflict and realised that the invention and imagination of new myths and identity were the best way to consolidate the nation. Zaal Andronikashvili and Giorgi Maisuradze, developing these assumptions of the 1990s, suggested a decade later that “the political project of independence was based primarily on returning to history imagined not in terms of active social and political activities in state or difficult work of memory, but in the sense of restoration of the idealised Georgian medieval statehood (a national-secular version of the myth about a paradise state before the fall). This picture of the world does not imply modernization in general with all its problems and real collisions. A homeostatic society emerged in this space and it aimed to preserve the certain state and prevented it from deviations” (Andronikashvili, 2012; Andronikashvili, 2007).

In fact, the dominance of these sentiments and idealised perceptions of the past and national history in Georgian society actualised its unwillingness to radical political modernization and decisive democratic reforms. Social and cultural institutions responsible for the development of identity were under control of the intellectuals. Georgian intellectuals were more active in myth-making than in a real democratisation of society. Actually the myth-making of Georgian intelligentsia that mutated into heterogeneous intellectual communities became one more institution of identity, and the author presumes that the myth as an institution was more adaptive than formal institutions of identity, including secondary school and universities, which, educating and nurturing new generations, assisted transformation of national identity to mass production of new meanings and senses of archaic and traditional institutions.

Myth as an institution of identity had adapted to the ideological demands of the Soviet communist doctrine, the romanticised and ethnicised nationalism of early independent Georgia, the imitative democracy of Eduard Shevardnadze and the political regimes of his successors. The political dynamics of the post-Soviet Georgia assisted to the gradual fragmentation of the thinking class into *dzveli int’elighentsiis* or “the old intelligentsia” and *akhali int’elekt’ualebi* or “new intellectuals” (Shatirishvili, 2003) despite the fact that the boundaries between these social and cultural categories had frontier character and were extremely conventional and imagined. Some

authors use the definition *marginali intelek'tualebi* or marginal intellectuals (Metreveli, 2014), but it does not describe the wide range of social and cultural contradictions among the Georgian heterogeneous thinking class because the signs and characteristics of marginality are extremely subjective.

Georgian intellectuals who are ideologically biased use it as a political label for strict critics of their ideological opponents. The domination of these sentiments predetermined the fact that Georgian intellectuals became victims and hostages of melancholy and the prolonged political and ideological depression. The image of “plumber of melancholy” (Iat'ashvili, 2016) arose even in Georgian poetry in this intellectual context. Motives of depression and despair became central in the reflections of Georgian intellectuals and entered their identity so deeply that they began to imagine misfortune as a natural and normal psychological state of the nation [*ch'ighvinadze, alek'si. uazro situats'iebis gmiris...*]. Georgian intellectuals are torn between common cultural universals and national historical and political myths agonizingly.

GEORGIAN INTELLECTUALS AS HOSTAGES OF POLITICAL LANGUAGE

These myths form the basis of the national Kartvelian identity of Georgian nation. The motives of *k'alak'i* (city) and images of *gamok'vabuli* (cave) (T'avdgiridze, 2016) became universals of Georgian political culture and national identity that rooted in the mutually exclusive myths of the “cave” as a stronghold of Christian virtue and morality and the “city” as a motor of social and cultural changes, modernizations and transformations. The simultaneous coexistence of these motifs with a sense of uncertainty predetermined that images of *gzis* (road) and *gza* (way) (Milorava, 2013) entered the number of central ones in Georgian identity because they actualise the general incompleteness of national and political construction in a country that, unlike other post-socialist states, continues to exist and develop in the stage of transition from communism to democracy. Motives of the uncertain trajectories of political movement actualise the numerous problems and contradictions of the state that communism in the past resolutely, but the post-communism is still an insurmountable obstacle for Georgian intellectual communities and political elites.

The images of *k'alak'i* and *gamok'vabuli*, *gzis* and *gza* are not the only collective mythologems invented by Georgian nationalists. Georgian intellectuals proposed several invented traditions, including *k'veqana* (country), *dedamitsaze* (motherland), *samshoblo* (fatherland), *t'avisup'leba* (freedom), *damoukidebloba* (independence), *ik'neba* (liberty). These invented traditions are extremely diverse and actualise various forms and di-



mensions of the national and cultural identities of the Georgian nation as an ethnic community and political body. The narratives of *k'alak'i* and *gamok'vabuli* belong to the number of elements of archaic heritage in present-time Georgian identity and actualise mainly religious components of national identity. The concepts of *k'alak'i* and *gamok'vabuli* became the result of the development of the book Christian culture and traditions of martyrdom, monasticism, and asceticism. They included Georgian identity into the wider context of the Western Christian political tradition.

These concepts were among the most influential in the traditional pre-modern Georgian identity, but their significance declined rapidly and sharply in the 19th and 20th centuries, especially in the Soviet period when Georgia became the victim of a forced modernization, which inspired secularization of Georgian society. The political and social dynamics of the 20th century inspired the rapid simultaneous disruption and desecration of concepts of *k'alak'i* and *gamok'vabuli* in Georgian identity despite the fact that Georgia was able to save more formal attributes of Christianity in the geographical landscape of the republic than the other parts of the Soviet empire. Narratives and images of *k'veqana* (country), *dedamitsaze* (motherland), *samshoblo* (fatherland), *t'avisup'leba* (freedom), *damoukidebloba* (independence), *ik'neba* (liberty) became later constructs in Georgian identity. Georgian political nationalism and civic activism inspired their appearance in the social, political and intellectual discourses of Georgia.

These invented traditions had predominantly instrumental purposes and applied nature because nationalists and other politicians used them to describe political changes and transformations, as well as legitimise them. The triad of *k'veqana* (country), *dedamitsaze* (motherland), *samshoblo* (fatherland) and *t'avisup'leba* (freedom), *damoukidebloba* (independence), *ik'neba* (liberty) emerged as a result of efforts of Georgian nationalist to develop nationalism as a predominantly political ideology. These narratives describe predominantly secular political virtues of Georgian state project because they were resulting from the transplantation of ideas inspired by Western bourgeois revolutions and the triumph of political nationalism introduced to the intellectual Georgian discourse. These invented traditions inspired the emergence of new political myths, which were more in demand in the period after Georgia regained its state and political independence. These definitions lost their abstract character in the 1990s because *t'avisup'leba* (freedom) and *damoukidebloba* (independence) ceased to be only abstract concepts in the Georgian language as they were a few years earlier when Georgia was a Soviet republic.

Georgian nationalism in these intellectual contexts gradually transformed from an exclusively political and ideological phenomenon into a

fact of the social medical situation of contemporary Georgian society because nationalistic discourse actualises signs of social paranoia and cultural schizophrenia simultaneously. George Orwell, an English writer, presumed that nationalism actualises three social states, including obsession, instability, and indifference to reality (Orwell, 1945), but these three features became the causes of the unstable position of intellectuals in the modern world where they mutated into educated marginals. Edward Said, commenting on this situation, wrote that “there is something fundamentally unsettling about intellectuals who have neither offices to protect nor territory to consolidate and guard; self-irony is, therefore, more frequent than pomposity, directness more than hemming and hawing. But there is no dodging the inescapable reality that such representations by intellectuals will neither make them friends in high places nor win them official honours. It is a lonely condition” (Said, 1994).

On the one hand, the discourse of modern Georgian nationalism functions as a reproduction of new meanings and senses or revision of old ones that became archaic ideas in Georgian nationalism because nationalist-minded Georgian intellectuals idealised them in the 20th century, and modern Georgian intellectuals canonized and mythologized the legacy of their political predecessors. On the other hand, nationalist discourse programs and determines the way of thinking of citizens who belong to a nation imagined and invented by nationalism. This feature of the nationalist discourse actualizes dimensions of nationalism as a deliberately planned and “programmed response” (Teslya, 2014) to threats of archaization and radical modernization as globalization simultaneously. Russian historians state that “the symbolic world of the innovation group is fundamentally opened and antidogmatic, anti-authoritative” (Dubin, Boris; Gudkov, Lev. *Evropeiskii intellectual...*), but the history of Georgian intellectual community actualizes tendencies of isolation and inclination towards dogmatic thinking, active participation in the imagination and invention of new political and national myths.

GEORGIAN INTELLECTUALS AS HOSTAGES OF THE HISTORICAL LOST TIME

Georgian intellectuals felt an acute sense of loneliness in the Soviet period because Georgian culture retained the significant degree of freedom and internal independence and its tonality; in general, it was different from other national cultures. Georgian society faced other problems when it tried to part with the images and symbols of Stalin (Nodia, 2010) imagined as the greatest Georgian of the 20th century. This parting with Stalin’s era legacy was very long and continued until the beginning of the 2010s when



the last monument of the Soviet leader was dismantled in Gori's central square and moved to his house-museum. The demolition of Soviet monuments was symbolic in the contexts of the struggle against the Soviet political and ideological heritage.

The authorities of independent Georgia dismantled the monuments of Sergo Ordzhonikidze who made a significant impact to the Sovietisation of Georgia despite that he was an ethnic Georgian. Georgian authorities did it immediately as the political and state independence was restored in the early 1990s. Monuments of Lenin as ethnically and ideologically alien monuments of the Soviet era were dismantled a little bit later. The demolition of Stalin's monument in 2010 was an attempt to prove that the ideas of national statehood, freedom, and independence became emotionally more important and attractive for Georgian citizens. Restoration of political independence did not abolish this sense of cultural and intellectual loneliness, which predetermined attempts by Georgian intellectuals (Kharbedia, 2017) to find mentally related cultures in the European context. Intellectual discourse in Georgia develop intensively, and local cultural spaces are very heterogeneous and amorphous [*mrgvali magida: XXI saukunis...*], and this fact force Georgian intellectuals to recognise the absence of general tendencies in developments of literature and cinema which were the main means of formation of the attractive image of the country in the world and promotion of its reputation as an oasis of European culture and freedom in the undemocratic USSR during the Soviet period. Georgian intellectuals in the 20th century mythologized identity and their heirs of the 21st century received several extremely stable myths about the great Georgian culture and literature as a stronghold of national identity.

Therefore, Georgian intelligentsia parted with old stereotypes and collective ideas very painfully. Any intellectual initiatives to revise old ideas are perceived as national treason and an attempt to assassinate the national myth and cultural foundations of the nation. Therefore, the attempt of Gia Nodia, who stated that he does not understand why Konstantin Gamsakhurdia has a reputation of the great writer [*nodia, gia. konstantine gamsakhurdia...*], to reconsider the stable and even stagnant pantheon of Georgian classics remained unnoticed because the society preferred to ignore it. Georgian intellectuals, in this cultural atmosphere, prefer to ignore this problem and therefore alternative points of view are extremely rare. Therefore, Georgian intellectuals dismantle the old stereotypes very slowly and they can not part with the standard pantheon of the founding fathers of the modern Georgian nation. Parting with the past and unpleasant totalitarian experience (Kharbedia, 2011) and the Soviet legacy predetermined intellectual traumas among representatives of Georgian intellectual community.

The social feeling of depression (Lomidze, 2015; Kekelidze, 2014) and collective fears institutionalized in the phenomenon of national melancholy and the myth of a yearning nation became system characteristics of Georgian contemporary intelligentsia and cultural elite. These feelings co-exist with fears of “post-apocalyptic zombies” (Zark’ua, 2010) because of Georgian society, where some citizens recalled the Soviet era nostalgically, is not able to overcome the fears that communism will be restored. The domination of collective fears predetermined the existence of Georgian intelligentsia in a closed model of development because Georgian intellectuals seek to avoid carefully acute and unpleasant topics and problems, including war (Kharbedia, 2011), civil conflicts, social problems, clericalization of society (Ninidze, 2014).

In general, Georgian authors (Kakabadze, 2008) recognise that the intellectual spaces of contemporary Georgia are too heterogeneous internally. The concept of *tsit’eli inteligents’iis* relates to *marginali intelek’tualebi* genetically and even historically precedes it, but it has more political and ideological character because some Georgian authors use it actively in their attempts to demonise the old intelligentsia. Levan Javakhishvili accuses the old intelligentsia, defined as ‘the red’ by him, in the overthrow of Zviad Gamsakhurdia (Zviad gamsakhurdiadan zviad gamsakhurdiamde...; sak’art’velos respublikis prezidenti....; Sharadze, 1995; Gamakharia, 2004; Sajaia, 2004; Ghlonti, 2007) and legitimization of the state upheaval (Javakhishvili, 2010). Georgian intelligentsia in the USSR and Georgian intellectuals in independent Georgia had never known what political and cultural freedom was (Maisuradze, 2012), the degree of their influence was too different. Jago Hvichia [Khvich’ia, iago. Personaluri snobi, vupis t’edzo da...] presumes that no more than one percent of Georgian citizens understand and accept the ideas of the liberal intelligentsia, and attempts to free and abandon the authoritarian legacy and totalitarian Soviet heritage were not very successful because Georgian intellectuals preferred to do it in an academic way, comparing German National Socialism and Stalinist Bolshevism (Gabelia, Alek’sandre. ‘Politikis est’etisats’ia` da...).

This idea of the intellectuals was incomprehensible to other citizens who did not have special knowledge in the history of the authoritarian political experience of the 20th century. Liberal experiments in politics and post-modernist experiments in literature became equally alien and incomprehensible for a significant number of citizens of independent Georgia. These rejections had cultural and social background because Georgian society, despite of all attempts of the forced economic and social modernizations in the 20th century, continued to be traditional and even partly archaic. The border line of intellectual and cultural division between the various



segments and cultural strata of Georgian society lay in their relation to religion in general and to the Orthodox Church in particular. Zaza Burchuladze's texts "Instant Kafka" and "Mineral Jazz" actualised various attitudes towards Orthodoxy that ranged from denial to ridicule with elements of political satire. Zaza Burchuladze actualised the state of cultural and intellectual schism and the semantic fragmentation of modern Georgian society in his texts where some groups accepted and assimilated Western values whereas others preferred to preserve archaic cultural and religious background.

The groups of Tbilisi intellectuals in the texts of Zaza Burchuladze actively and successfully imitate and simulate Western cultural practices and strategies because social and cultural behaviour was rooted in the denial of traditional models. Heroes of Zaza Burchuladze's prose attack an old man in Tbilisi park and forcibly circumcise him. This moment actualises the ritual circumcision of modern post-religious Georgian culture because it represents the act of parting with the past, the rejection of traditions and their decisive desacralisation. It will be a simplification to assume that Zaza Burchuladze deliberately deconstructs the foundations of the classical Georgian identity.

The secular and postmodern messages coexist with attempts at the religious enlightenment of heroes who allow themselves incorrect and frankly offensive phrases about the Catholicos Patriarch. Zaza Burchuladze criticises the Church actively and believes that "Georgian church is a system that became festered from within ... when 80 percent of residents are Orthodox fundamentalists, it's very dumbfounded for a free person to live in this space ... this society radicalises from day to day ... Our priests like fight dogs... You can say something about the patriarch, and you can be beaten easily by someone. When I wrote about the patriarch's breast in my novel 'Instant Kafka', I had problems. I was sworn in the streets... the taxi drivers have icons in their cars, there are icons in the offices of our ministers... everyone baptises. The people fast almost all year. It is some sort of collective hallucinosis. I teach a course in the Caucasian Media School with the symptomatic title 'Pop mechanics'. I meet wildly and stupidly believing young people... it is difficult to communicate with them: freedom of speech and freedom of the body also are closed for them" (Burchuladze, 2012).

Literary texts and political meanings produced and reproduced by intellectuals after a historical turning point when Georgia restored its political independence and sovereignty, were understandable only for a small number of intellectuals. Actually, Georgian intellectuals in independent Georgia did not reproduce the meanings for mass cultural consumption. Georgia in

this historical context echoed the intellectual experience of other Western countries where intellectual communities formed and developed historically as thinking social and cultural minorities. This ignorance became a consequence of negative political dynamics because neither the Soviet intellectuals nor intellectuals of independent Georgia have ever tried to become independent and distance themselves from the state and political power. Despite the objective differences between the old intelligentsia and the new intellectuals, these cultural groups have much in common, including Soviet genetic roots and origins, the experience of symbiosis with party nomenclature, fascination with the ideology of nationalism (Shubit'idze, 2013; Davit'ashvili, 2003) and national patriotic myths, conformism and the ability to adapt to any political regime [*intelligent-intelek'tualt'a qop'ierebis...*].

Georgian authors presume that the old intelligentsia and new intellectuals are very different groups with diametrically opposed and even mutually exclusive economic, social, cultural preferences, forms and ways of thinking, intellectual tactics, and strategies. The old intelligentsia and new intellectuals live in different social and cultural spaces. The old intelligentsia is connected with Eduard Shevardnadze's political era genetically, but in fact, they continue Soviet cultural and political traditions because the second president of Georgia was the product of the Soviet system and the party elite. New intellectuals are very different from the old intelligentsia in their political preferences because the *vardebis revolutsia* (Kopitersis, 2006) or Rose Revolution and President Mikheil Saakashvili were, in fact, the factors that inspired intellectuals and turned them into an influential force and factor of Georgian social and cultural life. New intellectuals and old intelligentsia consciously and intentionally use various definitions: the old intelligentsia uses the concept of "intelligentsia" in its attempts to actualise historical ties with Georgian intelligentsia of the pre-Soviet and Soviet epochs. New intellectuals tend to reject the definition of "intelligentsia" in general because they perceive it as the Soviet political and ideological construct and form of Soviet influence.

The definition of *t'ergdaleulebi* (Ch'khaidze, 2009) is still applicable to the representatives of the old intelligentsia because they imagine themselves as part of European cultural elite. New intellectuals, unlike the old post-Soviet intelligentsia, can be defined as *potomakdaleulebi* because American culture became more attractive for them in general than the Russian one. Despite the attractiveness of American political culture and traditions, Georgian media are less active in its popularisation and prefer to publish translations of European intellectuals and thinkers than the texts of their American counterparts [Ts'khadaia, Giorgi. Interviu berni...]. Contemporary Georgian intellectuals, disappointed in the society and culture of



unrestrained consumerism [Khvich'ia, Iago. Dzudzuebi, Integrats'ia, Trak'torisats'ia...], mastered, assimilated and integrated the main achievements of Western humanitarian knowledge into national Georgian contexts successfully [K'oiava, Revaz. Istoriuli METS'NIEREBA...].

Despite formal differences between historical and cultural generations of Georgian intellectuals, representatives of various groups of contemporary Georgian intelligentsia deny the objective laws of knowledge and perceive scientific universalism in particular and the very idea of logos in general as social archaisms inherited from the era of Enlightenment. If the Georgian intellectuals of the 17th and 18th centuries discovered Europe for themselves (Kharbedia, 2016; Zark'ua, 2015) and invented the ideal images of Georgia for Europe, the modern Georgian intellectual communities changed the geographical coordinates of their cultural and political preferences resolutely and radically. If the idea of the West, in general, was popular among representatives of the Soviet Georgian intelligentsia, which carefully studied the historical aspects of Georgian-European cultural ties, then contemporary Georgian intellectuals preferred to minimize the concept of the Western world to the North American political space. European culture in particular also became less popular, but the interest in European intellectual experience as the regional form of Western one is still very stable.

Therefore, contemporary Georgian authors in their attempts to translate and popularise the classical works of European intellectuals, including founding fathers of Marxism (Shanidze, 2016; Tavelidze, 2014; Abramishvili, 2014; Kit'khvari – T'anamedrove K'art'uli... 2013, 25 noembers; Markuze, Herbert. Utopiis Dasasruli...; Markuze, Herbert. Haidegeris Analizi....; Markuze, Herbert. Dzaladobisa da Radikaluri....; Markuze, Herbert. Agresiuloba Motsinave....; Lukach'i, Georg. Moralis roli...; Badiu, Alan. Ch'ven ar Unda...; P'romi, Erikh. Mark'sizmi, P'sik'oanalizi...; Zhizheki, Slavoi. ar Shegiqvardet'....; Marineti, P'ilipo Tomazo. P'uturizmis Daarseba da...), seek to integrate the theoretical reflections and achievements of European political culture with the national contexts. Attempts to transplant the European including the Italian intellectual experience into Georgian contexts generate some curiosities rooted in common pro-American sympathies. Antonio Gramsci's (Gramshi, 2016) texts about political responsibility of intellectual class were translated into Georgian from English because his Georgian popularisers prefer to bypass Italian original source, but it does not mean that Georgian intellectuals completed their romantic relationship with Italy and Italian culture (Khatiaashvili, 2017) because Italian motifs become visible in the modern cultural space of Georgia from time to time.

Georgian intellectuals are interested in Italian historical, political and cultural experience and attempt to find traces of Italian influence in the Georgian cultural landscapes, including the architectural appearance of Tbilisi (Kalandarishvili, 2017; Ts'khovrebadze, 2017; Berdzenishvili, 2017; Gegelia, 2017). The “old” Georgian intellectuals in the 1990s and 2000s were forced to hide in traditional academic institutions (Academy of Sciences, universities etc) and creative unions (Writers’ Union, etc.) that Georgia inherited from the USSR. “New” intellectuals, unlike the “old” ones, preferred non-governmental organisations or new independent media based on market principles. Cultural and social preferences and differences inspired the fragmentation of the intellectual community: Russian, French, German and some other regional European languages including Italian or Spanish were the main foreign languages for the “old” post-Soviet Georgian intellectuals. New intellectuals prefer to use English and ignore and even forget Russian.

The political events of the early 1990s inspired the political radicalisation of Georgian intelligentsia because Zviad Gamsakhurdia himself used radical methods and his opponents also believed that radical forms of political struggle were most effective. Zviad Gamsakhurdia was able to gain control over the political sphere, but his triumph was extremely short. Despite the statements and assurances of Georgian intellectual Dato Barbakadze that “poetry and politics will never stretch one another’s hands” (Barbakadze, 2009), the poet was able to become a political leader. The Georgian intelligentsia in the 1990s became a hostage of political struggle, and political ruling elites were not interested in its ideological fluctuations despite the fact that intellectuals imagined and invented the identity of the new Georgian political nation. Dato Barbakadze presumes that this political choice actualised certain features of the Georgian intelligentsia, which “adapted to the current situation always... and plays the role of an authorised and controlled opposition in the extreme situations” (Barbakadze, 2003). Georgian intellectuals, despite all the contradictions of the era of political transition from authoritarianism to democracy, could become a cultural force that gained control over the symbolic political resources of the formation of civil and national identities. The 1990s marginalized the communist and extreme nationalist discourse in Georgian political thinking. Therefore, modern Georgian intellectuals are compelled to remain in liberal discourse which they imagined as a universal and inevitable political and ideological compromise between the communist stagnation and the extremes and horrors of ethnic nationalism.



CONCLUSIONS: ETERNAL CAPTIVES OF SENSES, NATION, EUROPE AND THE NATIONAL MISSION

Institutions of identity and production of meanings in Georgia were diverse, their political values and swarms were also unequal. Symbolic institutions and practices of the reproduction of meanings had a predominantly symbolic sense and stimulated the progress of ethnic and radical forms of nationalism. Intellectual communities ceased to be sovereigns of thoughts and lost in competition with professional politicians who formed a semi-closed political class that no longer needs the intellectuals, and identities, and nations they imagined and invented. The secondary school and universities which imagined and invented nations in Europe in the 19th century, which standardised folk dialects turning them into national languages, became actual outsiders and social marginals in the modern information society, which no longer has a sustainable social need in these archaic institutions.

National histories, histories of literature, great historical and political narratives, national pantheons of the founding fathers of nation invented and imagined by intellectuals are among the social and cultural relics because they ceased to be interesting and important for political elites and classes. The small number of intellectuals still tries to invent senses and meanings of identity and legitimise social and cultural spaces where national identity exists. The institutions of identity and the production of meanings in Georgia in these intellectual contexts became special cases of inventing traditions in general and invented traditions in particular. Modern nationalism exists and develops in the context of imagination and its invention by intellectuals who imagine, invent and maintain nationalist discourse. They can no longer stop the production of meanings their historical predecessors began several decades earlier. Political classes and elites removed the intellectuals and nationalists from the political decision-making processes and started to participate in social and cultural games that their nationalistic and romantic predecessors inspired in the 19th century. Nationalism will create institutions of identity that will reproduce social, cultural and political meanings, but other actors, including political classes and mass media, are doomed to generate new meanings and become service personnel of the universal body of nationalist discourse.

Intellectuals became an important factor in political, cultural and social histories of Georgia and they are responsible for the modernization that determines the social face of contemporary Georgia as a nation and state. Intellectuals became the founding fathers of the modern political nation and formulators of its imagined and invented traditions. The idea of Georgian ethnic and political nation emerged, developed, progressed after intellectu-

als imagined it in various cultural and social practices and activities. Georgian intellectuals of the 20th century and their modern heirs and successors lived and continue to live in a dynamically changing nationalizing and modernizing society where nationalism did not become part of history, but continues to function as a real political force that determines the social shape of Georgian society and the basic trajectories of the development of Georgian statehood, simultaneously.

The assertions and statements that Georgian intellectuals are nationalists became a common place and sound quite trite. Georgian intellectuals provided the Georgian nation, which they actively imagined and invented, with the necessary social, political and cultural attributes. Georgian history, Georgian literature, Georgian language, Georgian geography became imagined constructs and invented political traditions. Georgian intellectuals as nationalists actualised the significant consolidation potential of national myths. Nationalists were the first who codified the myths and collected unsystematized disparate ideas of Kartvelian groups turning them into an ethnic and political Georgian nation. Georgian intellectuals became not only nationalists, but they became hostages of the sad and unpleasant political situation that led to the tragedy of intellectual communities in Georgia. Georgian intellectuals became victims of several tragic situations, including unsuccessful attempts to create a national independent statehood that became a victim of Sovietisation; integration into the political apparatus of Soviet authoritarianism; crisis and the disintegration of the habitual social environment in the early 1990s.

The epoch of Zviad Gamsakhurdia became the era of the rise and fall of political intellectuals in post-Soviet Georgia because formally Zviad Gamsakhurdia became the first intellectual who could gain real political power in Georgia, but intellectuals could not control it in competition with the former party nomenclature that formed the core of professional politicians, united by corruption and participation in other informal political and economic institutions. The tragedy of professional intellectuals who gained political power was the result of their radicalization and ethnicization because they preferred to replace the slogans of political nationalism, rights, and freedoms with the values and myths of ethnic nationalism and radicalism. These political tragedies inspired the gradual radicalisation of Georgian intellectuals and institutionalised foundations for their protracted relationship with ethnic nationalism.

This political metamorphosis inspired intellectual attempts to ethnize history and the rise of ethnic myths which became new invented traditions because they marginalized political nationalism. Georgian intellectuals got a unique and unpleasant experience in years of transition from au-



thoritarianism to democracy, despite the fact that this transition had a formal nature before the historic moment of “Rose Revolution”. The years of political transit changed the social and cultural appearance of the old Georgian Soviet intelligentsia radically. A new generation of intellectuals preferred to become intellectuals in the Western meaning of this concept.

The heterogeneous Georgian intellectual communities replaced the old Soviet intelligentsia, but the intellectuals, as their Soviet historical predecessors, were very ideological and politicised. Contemporary Georgian intellectuals remained secular and did not become radical fanatics of the church or ethnic nationalism as a new universal political religion. Intellectual communities in Georgia, despite the fact that they are extremely fragmented and heterogeneous, continue to be factories where intellectuals produce meanings and transplant them into the political and cultural spaces of modern Georgian society. Georgian intellectuals, especially those who are close to political elites, take active part in the functioning of the official state machine that produces meanings and promotes the identity of the nation. Actually, Georgian intellectuals, in those cultural and social situations, became theorists of the new political economy for the nation and nationalism.

The production of meanings became a form of symbolic exchange and an act of political communication between various groups of elites. On the one hand, Georgian intellectuals continue to develop European narratives which bring them closer to the Soviet intelligentsia, but they prefer to replace European sympathies with American ones. On the other hand, Georgian intellectuals face many problems and difficulties because their ideas are incomprehensible to most Georgians who prefer to preserve traditional values, including Orthodoxy. Georgian intellectuals are forced to exist in a society that prefers to remain partly traditional and archaic because of the values, principles, and ideas of secularisation in Georgia, unlike Christianity, became victims of social marginalization. Georgia experienced modernization in the 20th century, but Georgian modernization did not inspire the radical secularisation of society.

Therefore, Georgian intellectual communities are forced to exist in two social and cultural times. On the one hand, intellectual communities live in the same time zones with intellectuals of the West. On the other hand, Georgian intellectuals in their attempts to keep in contact with their fellow citizens use local time, which lags behind the paces and velocities of social and cultural changes and transformations of the Western world. These features of the social and cultural situations in Georgia turned intellectuals into a spiritually isolated group from formally ‘their’ society in general, but intellectuals were able to maintain their unity with the rest of

the world. The vectors and trajectories of the further developments of Georgian intellectual communities continue to remain vague, but their social and cultural roles are undoubted and significant.

References

- President of the Republic of Georgia Zviad Gamsakhurdia, 1992-1993* (1955). Tbilisi: Khma erisa.
- (February 15, 2017). *The birth of the Italian State*. Arili.
- (October 16, 2009). *Intolerant lightness of intelligentsia-intellectual existence*. Arili.
- Abramishvili, D. (2014). Sak'art'velo t'anamedrove khelovnebis rukaze. *Arili*. (In Georgian)
- Ap'khazet'is avtonomiuri respublikis konstituts'ia*. (n.d.). Retrieved from http://abkhazia.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=24/ (In Georgian)
- Andronikashvili, Z. (2012). *Glory to powerlessness. Martrilological paradigm of Georgian political theology*. Retrieved from <https://history.wikireading.ru/196855/> (In Russian)
- Andronikashvili, Z. & Maisuradze, G. (2007). *Georgia-1990: Phylogeme of Independence, or Unlearned Experience*. Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nlo/2007/83/an10.html> (In Russian)
- Badiu, A. (2015). *Ch'ven ar unda vititrot'*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1394/> (In Georgian)
- Barbak'adze, T. (2010). *Essay marginalisation and boredom*. *Semiotika*.
- Berdzenishvili, L. (February 15, 2017). *Dante today*. Arili.
- Berekashvili, T. (January 9, 2012). *Time and Mirror*. Retrieved from <https://semioticsjournal.wordpress.com/2012/01/09/>
- Beriashvili, L. (2015). *State capitalism in the context of modern Georgian culture*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1241/>
- Burchuladze, Z. (2011). *Inflatable angel*. Tbilisi.
- Barbakadze, D. (2003). *Between "nothing" and "something": observation of a Georgian writer*. Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/barb.html> (In Russian)
- Barbakadze, D. (2009). *Poetry and Politics*. Retrieved from http://magazines.russ.ru/nov_yun/2009/4/ba5.html (In Russian)
- Burchuladze, Z. (2012). *We are in the middle of nowhere*. Retrieved from <https://lenta.ru/articles/2012/10/12/zaza/> (In Russian)
- Ch'ighvinadze, A. (2011). *Instructions for Hero in Wonderful Situations*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=707/>
- Ch'khaidze, I. (2009). *Modernist Theory of Nationalism and Georgian National Project ("Tergaglebi")*. Tbilisi: Akhali azri.



- Ch'khataishvili, K. (1985). *Incorporation of Gurian Principality in Russia*. Tbilisi: Mets'niereba.
- Davit'ashvili, Z. (2003). *Nationalism and Globalisation*. Tbilisi: Mets'niereba.
- Dubin, B. & Gudkov, L. (2014). *The European Intellectual: An Attempt to Apologize Subjectivity*. Retrieved from <https://postnauka.ru/longreads/22471/> (In Russian)
- Dzigua M. (2009). *Intelligentsia in the works of Mikheil Javakhishvili*. Tbilisi.
- Elizbarashvili, E. (January 26, 2012). *Jean-Bodriar's Cultural Broth and Georgian "Bullion" Time*. in *semiotika*, Retrieved from https://semioticsjournal.wordpress.com/2012/01/26/elizbar-elizbarashvili-_zh/
- Elizbarashvili, E. (May 2, 2014). *Time "read" according to the spatial coordinates of the fourth dimension of the universe*. Retrieved from https://semioticsjournal.wordpress.com/2014/05/02/elizbar-elizbarashvili-_d/
- Gabelia, A. (2017). *"Esthetisation of Politics" and "Politics of Esthetics"*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1352/>
- Gamakharia J. (2004). *Zviad Gamsakhurdia's politics in Abkhazia (1990 - 1993)*. Tbilisi: Lika.
- Gamsakhurdia Z. (1990). *Georgian spiritual mission*. Tbilisi: Ganat'leba.
- Gamsakhurdia Z. (1995). *Zviad Gamsakhurdia about Zviad Gamsakhurdia, 1991-1995*. Tbilisi: Samart'l.
- Gamsakhurdia Z. (2000). *"Choose Georgian Ero!": Zviad Gamsakhurdia's statements*. Tbilisi: Dzmoba "gralis mts'velni".
- Gegelia, G. (February 23, 2017). *When they created the Republic - the birth of Italy*. Arili.
- Gelneri, E. (2003). *Nations and Nationalism*. Tbilisi: Nekeri.
- Ghlonti S. (2007). *Christian belief of Zviad Gamsakhurdia: Chronicle of life and work*. Tbilisi.
- Gramshi, A. (2016). *Formation of intellectuals*. Retrieved from <http://european.ge/antonio-gramchi-inteleqtualebis-formireba/>
- Gurgenidze I. (1988). *Tbilisi University Rectors*. Tbilisi: T'bil. un-tis gam-ba.
- Guseinov, G. (2012). *An intellectual cannot be liked by society*. Retrieved from <http://gefter.ru/archive/2866/> (In Russian)
- Hech'teri, M. (2007). *Nats'ionalizmis shech'ereba*. T'bilisi: CSS. (In Georgian)
- Hech'teri, M. (2007). *Stop of nationalism*. Tbilisi: CSS.
- Hobsbaumi, E. (2012). *Erebi da nats'ionalizmi 1780 tsldan: programa, mit'i, realoba*. Tbilisi: Ilias sakhelmts. (In Georgian)
- Iat'ashvili, S. (August 29, 2016). *Sanitas of Sadness*. Arili.
- Javakhishvili, L. (2010). *Intellectuals as the ideal killers of Zviad Gamsakhurdia*. Dorni.
- Jorbenadze S. (1988). *Brief History of Tbilisi University*. Tbilisi: T'bil.

- Kakabadze, N. (2008). Conjunctive captivity. *Ts'kheli shokoladi*, (43).
- Kakitelashvili, K. (2012). *Georgian and European Identity Issues: Collection*. Tbilisi.
- Kalandarishvili, L. (February 1, 2017). *Adventures of Italian architects in Tbilisi*. Arili.
- Kharbedia, M. (2011). *The first Georgian military novel*. Arili.
- Kharbedia, M. (December 8, 2016). "Journey to Europe" - an attempt to archaeology of the text. Arili.
- Kharbedia, M. (January 22, 2012). *Zaza Burchuladze's "Inflatable Angel"*. Radio t'avisup'leba.
- Kharbedia, M. (January 5, 2017). *Boat and chest - Basque blogs*. Arili.
- Kharbedia, M. (March 25, 2011). *Totalitarianism and Literary Discourse*. Arili.
- Khatiashvili, T. (February 15, 2017). *A romantic admirer of death*. Arili.
- Khomeriki, M. (2012). *The abolition of the Kingdom of Imereti, the revolt of 1819-1820 and the Imereti an Bagrations*. Tbilisi: Universali.
- Khvich'ia, I. (2010). *Personalized soul, whip hip and Georgian liberals*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=505>
- Khvich'ia, I. (2010). *Tits, integration, tractorisation*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=480>
- Kikodze G. (1919). *National Energy*. Tbilisi.
- Kit'khvari (November 25, 2013). *Questionnaire - Modern Georgian Prose*. Arili.
- Kopertesis B. (2006). *Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution*. Tbilisi.
- Kozhoridze, D. (1987). *Samtskhe-Javakheti - past and present*. Tbilisi: Sabchoto sak'art'velo.
- K'arumidze, Z. (2014). *Post-Soviet Georgia and Postmodernism*. Retrieved from <http://www.demo.ge/new.php?do=full&id=814/>
- K'oiava, R. (2014). *Historical Science in Postmodern Era*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1198/>
- Lomidze, G. (May 15, 2015). *Cataracts effect of past transformation*. Tbilisi: Siesta.
- Lukach'i, G. (2017). *Role of Moral in Communist production*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1389/>
- Maghlap'eridze T. (2005). *Presentation of the essay: essays on Georgian literature and intelligentsia*. Tbilisi: Universali.
- Maisuradze, G. (2010). *Polarisation*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=521/>
- Maisuradze, G. (July 23, 2012). *Intellectuals and Power*, in *radio t'avisup'leba*. Retrieved from <https://www.radiotavisupleba.ge/a/blog-maisuradze-intellectuals/24654268.html>
- Makharadze M. (1997). *Intellectuals and politics*. Tbilisi: Let'a.



- Markuze, H. (2017). *Aggression in advanced industrial societies*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1356/>
- Markuze, H. (2017a). *End of utopia*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1341/>
- Markuze, H. (2017b). *Heidegger's analysis was false*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1329/>
- Markuze, H. (2017c). *The problem of violence and radical opposition*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1333/>
- Mark'si, K. (2013a). *Criticism of Hegel's Philosophy*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1064/>
- Mark'si, K. (2013b). *For the Jewish question*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1059/>
- Metreveli, R. (1998). Tbilisi State University, 1918-1998: Jubilee Collection. Tbilisi: T'bil.
- Metreveli, T. (May 14, 2014). *Who are the intellectuals?* Tabula.
- Metreveli R. (1996). *Ivane Javakhishvili and Tbilisi University*. Tbilisi: T'bil.
- Metreveli R. (2003). *University Today: Tbilisi 85th anniversary of the establishment*. Tbilisi: T'bil.
- Milorava, I. (November 12, 2013). *Road spatial model in modernist text*. Retrieved from <https://semioticsjournal.wordpress.com/category/enisa-da-literaturis-sem/>
- Mirgulashvili, M. (2013). *Theory of Nationalism: The Study*. Tbilisi: T'bil.
- Mrgvali M. (January 20, 2011). *XXI century Georgian novel*. Arili.
- Ninidze, K. (2014). *Versus ie*. Arili.
- Nodia, G. (2015). *I do not understand why Konstantine Gamsakhurdia is considered a great writer*. Retrieved from <http://presa.ge/new/?m=society&AID=36865/>
- Nodia, G. (2010). *Goodbye Stalin*. Retrieved from <https://moldova.europalibera.org/a/2088433.html> (In Russian)
- Ort'k'ip'anidze, V. (1994). *Samtskhe-Javakheti in XIX-XX centuries: Demographic Development Problems*. Tbilisi: Mets'niereba.
- Orwell, G. (1945). *Notes on Nationalism*. Retrieved from http://www.orwell.ru/library/essays/nationalism/english/e_nat/
- Pirtskhalava, N. (1997). *Intellectuals and Nationality. Are Georgian intellectuals Soviet intellectuals?* Retrieved from <http://poli.vub.ac.be/publi/etni-1/pirtshalava.htm> (In Russian)
- P'romi, E. (2017). *Marxism, Psychoanalysis and Reality*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1392/>
- Rekhviashvili, M. (1976). *Kingdom of Imereti in the XVI century: political history*. Tbilisi: T'bil.
- Rekhviashvili, M. (1989). *Kingdom of Imereti (1462-1810)*. Tbilisi: T'bi.

- Robakidze, G. (2004). *Rod of Georgia*. In response to the article by N. Mitsishvili "Duma on Georgia". Retrieved from <http://magazines.russ.ru/druzhba/2004/3/robak20.html> (In Russian)
- Said, E. (1994). *Representations of the Intellectual*. New York: Pantheon
- Shanidze, T. (September 25, 2016). *Maculature*. Arili.
- Sharadze, G. (1995) *Zviad Gamsakhurdia's death and burial*. T'bilisi: Sakhalkho tsigni.
- Shatirishvili, Z. (2003). "Old" intelligentsia and "new" intellectuals: Georgian. Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/shati.html> (In Russian)
- Shubit'idze, V. (2013). *Europeanisation and Georgian Political Thinking (European Identity of Georgia)*. Tbilisi: Tek'n.
- Smit'i, E. (2004). *Nationalism: Theory, Ideology, History*. Tbilisi.
- Sudadze, N. (1998). *Social Situation and Educational Issues in Samtskhe-Javakheti*. Tbilisi: Mets'niereba.
- Sutidze Z. (n.d.) *Establishment and Manifests of Futurism*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1057/>
- Tadzari I. (2000). *The temple: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Georgian Educational and Scientific Center*. Tbilisi.
- Tavelidze, I. (2014). *Days and sacrifices: Modern Georgian translations*. Arili.
- Teslya, A. (2014). *Nationalism: Conservative Criticism*. Retrieved from <http://gefter.ru/archive/11050/> (In Russian)
- Trots'ki, L. (2016). *Vodka, church and cinematography*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1289/>
- Ts'khadaia, G. (n.d.). *Berny Sanders: interview*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=123/>
- Ts'khovrebade, S. (February 5, 2017). *Arturo Benedetti Michelangelo - Italian Perfectionist*. Arili.
- T'avdgiridze, K. (February 29, 2016). *City and cave*. Semiotika.
- T'eimuraz K. (2009). *Identity and Nationalism*. Tbilisi: Akhali azri.
- T'inikashvili, D. (January 10, 2012). *Time Percussion with Augustine, or "In You, Soul, My Time, I Think Time"*. Retrieved from https://semioticsjournal.wordpress.com/2012/01/10/davit'-t'inikashvili_-drois/
- University: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Tbilisi: T'bil.
- Urushadze, I. (2016). *Liberal Criticism of Religion in Georgia*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1288/>
- Vanishvili, E. (April 29, 2011). *Zaza Burchuladze's Senseless "Inflatable Angel"*. Radio T'avisup'leba.
- Zark'ua, J. (Januart 20, 2015). *Have You been in France?* Arili.
- Zark'ua J. (November 5, 2010). *Reader's Day*. Arili.



- Zendania, G. (2007). *Birth of Georgian nation: Conference materials dedicated to Ilia Chavchavadze* Tbilisi: I. chavchavadzis sakhelmts.
- Zhizheki, S. (2013). *Do not love yourself*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1060/>
- Zviad G. (2004). *Zviad Gamsakhurdia 65. Autonomous Republic of Abkhazia Republic Supreme Council, Jubilee Commissar of the 65th Anniversary of Zviad Gamsakhurdia*. Tbilisi: Lika.

Список литературы

- President of the Republic of Georgia Zviad Gamsakhurdia, 1992-1993* (1955). Tbilisi: Khma erisa.
- (February 15, 2017). *The birth of the Italian State*. Arili.
- (October 16, 2009). *Intolerant lightness of intelligentsia-intellectual existence*. Arili.
- Abramishvili, D. (2014). *Sak'art'velo t'anamedrove khelovnebis rukaze*. Arili.
- Ap'khazet'is avtonomiuri respublikis konstituts'ia*. Retrieved from http://abkhazia.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=24/
- Badiu, A. (2015). *Ch'ven ar unda vitirots'*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1394/>
- Barbak'adze, T. (2010). *Essay marginalisation and boredom*. Semiotika.
- Berdzenishvili, L. (February 15, 2017). *Dante today*. Arili.
- Berekashvili, T. (January 9, 2012). *Time and Mirror*. Retrieved from <https://semioticsjournal.wordpress.com/2012/01/09/>
- Beriashvili, L. (2015). *State capitalism in the context of modern Georgian culture*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1241/>
- Burchuladze, Z. (2011). *Inflatable angel*. Tbilisi.
- Ch'ighvinadze, A. (2011). *Instructions for Hero in Wonderful Situations*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=707/>
- Ch'khaidze, I. (2009). *Modernist Theory of Nationalism and Georgian National Project ("Tergaglebi")*. Tbilisi: Akhali azri.
- Ch'khataishvili, K. (1985). *Incorporation of Gurian Principality in Russia*. Tbilisi: Mets'niereba.
- Davit'ashvili, Z. (2003). *Nationalism and Globalisation*. Tbilisi: Mets'niereba.
- Dzigua M. (2009). *Intelligentsia in the works of Mikheil Javakhishvili*. Tbilisi.
- Elizbarashvili, E. (January 26, 2012). *Jean-Bodriar's Cultural Broth and Georgian "Bullion" Time*. in semiotika, Retrieved from https://semioticsjournal.wordpress.com/2012/01/26/elizbar-elizbarashvili_-_zh/

- Elizbarashvili, E. (May 2, 2014). *Time "read" according to the spatial coordinates of the fourth dimension of the universe*. Retrieved from https://semioticsjournal.wordpress.com/2014/05/02/elizbar-elizbarashvili_-_d/
- Gabelia, A. (2017). *"Esthetisation of Politics" and "Politics of Esthetics"*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1352/>
- Gamakharia J. (2004). *Zviad Gamsakhurdia's politics in Abkhazia (1990 - 1993)*. Tbilisi: Lika.
- Gamsakhurdia Z. (1990). *Georgian spiritual mission*. Tbilisi: Ganat'leba.
- Gamsakhurdia Z. (1995). *Zviad Gamsakhurdia about Zviad Gamsakhurdia, 1991-1995*. Tbilisi: Samart'l.
- Gamsakhurdia Z. (2000). *"Choose Georgian Ero!": Zviad Gamsakhurdia's statements*. Tbilisi: Dzmoba "gralis mts'velni".
- Gegelia, G. (February 23, 2017). *When they created the Republic - the birth of Italy*. Arili.
- Gelneri, E. (2003). *Nations and Nationalism*. Tbilisi: Nekeri.
- Ghlonti S. (2007). *Christian belief of Zviad Gamsakhurdia: Chronicle of life and work*. Tbilisi.
- Gramshi, A. (2016). *Formation of intellectuals*. Retrieved from <http://european.ge/antonio-gramchi-inteleqtualebis-formireba/>
- Gurgenidze I. (1988). *Tbilisi University Rectors*. Tbilisi: T'bil. un-tis gam-ba.
- Hech'teri, M. (2007). *Nats'ionalizmis shech'ereba*. T'bilisi: CSS.
- Hech'teri, M. (2007). *Stop of nationalism*. Tbilisi: CSS.
- Hobsbaumi, E. (2012). *Erebi da nats'ionalizmi 1780 tsldan: programa, mit'i, realoba*. Tbilisi: Ilias sakhelmts.
- Iat'ashvili, S. (August 29, 2016). *Sanitas of Sadness*. Arili.
- Javakhishvili, L. (2010). *Intellectuals as the ideal killers of Zviad Gamsakhurdia*. Dorn.
- Jorbenadze S. (1988). *Brief History of Tbilisi University*. Tbilisi: T'bil.
- Kakabadze, N. (2008). *Conjunctive captivity*. Ts'kheli shokoladi, (43).
- Kakitelashvili, K. (2012). *Georgian and European Identity Issues: Collection*. Tbilisi.
- Kalandarishvili, L. (February 1, 2017). *Adventures of Italian architects in Tbilisi*. Arili.
- Kharbedia, M. (2011). *The first Georgian military novel*. Arili.
- Kharbedia, M. (December 8, 2016). *"Journey to Europe" - an attempt to archaeology of the text*. Arili.
- Kharbedia, M. (January 22, 2012). *Zaza Burchuladze's "Inflatable Angel"*. Radio t'avisup'leba.
- Kharbedia, M. (January 5, 2017). *Boat and chest - Basque blogs*. Arili.
- Kharbedia, M. (March 25, 2011). *Totalitarianism and Literary Discourse*. Arili.



- Khatiashvili, T. (February 15, 2017). *A romantic admirer of death*. Arili.
- Khomeriki, M. (2012). *The abolition of the Kingdom of Imereti, the revolt of 1819-1820 and the Imereti an Bagrations*. Tbilisi: Universali.
- Khvich'ia, I. (2010). *Personalized soul, whip hip and Georgian liberals*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=505>
- Khvich'ia, I. (2010). *Tits, integration, tractorisation*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=480>
- Kikodze G. (1919). *National Energy*. Tbilisi.
- Kit'khvari (Novembre 25, 2013). *Questionnaire - Modern Georgian Prose*. Arili.
- Kopertesis B. (2006). *Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution*. Tbilisi.
- Kozhoridze, D. (1987). *Samtskhe-Javakheti - past and present*. Tbilisi: Sabchoto sak'art'velo.
- K'arumidze, Z. (2014). *Post-Soviet Georgia and Postmodernism*. Retrieved from <http://www.demo.ge/new.php?do=full&id=814/>
- K'oiava, R. (2014). *Historical Science in Postmodern Era*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1198/>
- Lomidze, G. (May 15, 2015). *Cataracts effect of past transformation*. Tbilisi: Siesta.
- Lukach'i, G. (2017). *Role of Moral in Communist production*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1389/>
- Maghlap'eridze T. (2005). *Presentation of the essay: essays on Georgian literature and intelligentsia*. Tbilisi: Universali.
- Maisuradze, G. (2010). *Polarisation*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=521/>
- Maisuradze, G. (July 23, 2012). *Intellectuals and Power*, in *radio t'avisup'leba*. Retrieved from <https://www.radiotavisupleba.ge/a/blog-maisuradze-intellectuals/24654268.html>
- Makharadze M. (1997). *Intellectuals and politics*. Tbilisi: Let'a.
- Markuze, H. (2017). *Aggression in advanced industrial societies*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1356/>
- Markuze, H. (2017a). *End of utopia*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1341/>
- Markuze, H. (2017b). *Heidegger's analysis was false*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1329/>
- Markuze, H. (2017c). *The problem of violence and radical opposition*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1333/>
- Mark'si, K. (2013a). *Criticism of Hegel's Philosophy*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1064/>

- Mark'si, K. (2013b). *For the Jewish question*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1059/>
- Metreveli, R. (1998). Tbilisi State University, 1918-1998: Jubilee Collection. Tbilisi: T'bil.
- Metreveli, T. (May 14, 2014). *Who are the intellectuals?* Tabula.
- Metreveli R. (1996). *Ivane Javakhishvili and Tbilisi University*. Tbilisi: T'bil.
- Metreveli R. (2003). *University Today: Tbilisi 85th anniversary of the establishment*. Tbilisi: T'bil.
- Milorava, I. (November 12, 2013). *Road spatial model in modernist text*. Retrieved from <https://semioticsjournal.wordpress.com/category/enisa-da-literaturis-sem/>
- Mirgulashvili, M. (2013). *Theory of Nationalism: The Study*. Tbilisi: T'bil.
- Mrgvali M. (January 20, 2011). *XXI century Georgian novel*. Arili.
- Ninidze, K. (2014). *Versus ie*. Arili.
- Nodia, G. (2015). *I do not understand why Konstantine Gamsakhurdia is considered a great writer*. Retrieved from <http://presa.ge/new/?m=society&AID=36865/>
- Ort'k'ip'anidze, V. (1994). *Samtskhe-Javakheti in XIX-XX centuries: Demographic Development Problems*. Tbilisi: Mets'niereba.
- Orwell, G. (1945). *Notes on Nationalism*. Retrieved from http://www.orwell.ru/library/essays/nationalism/english/e_nat/
- P'romi, E. (2017). *Marxism, Psychoanalysis and Reality*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1392/>
- Rekhviashvili, M. (1976). *Kingdom of Imereti in the XVI century: political history*. Tbilisi: T'bil.
- Rekhviashvili, M. (1989). *Kingdom of Imereti (1462-1810)*. Tbilisi: T'bi.
- Said, E. (1994). *Representations of the Intellectual*. New York: Pantheon
- Shanidze, T. (September 25, 2016). *Maculature*. Arili.
- Sharadze, G. (1995) *Zviad Gamsakhurdia's death and burial*. T'bilisi: Sakhalkho tsigni.
- Shubit'idze, V. (2013). *Europeanisation and Georgian Political Thinking (European Identity of Georgia)*. Tbilisi: Tek'n.
- Smit'i, E. (2004). *Nationalism: Theory, Ideology, History*. Tbilisi.
- Sudadze, N. (1998). *Social Situation and Educational Issues in Samtskhe-Javakheti*. Tbilisi: Mets'niereba.
- Sutidze Z. (n.d.) *Establishment and Manifests of Futurism*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1057/>
- Tadzari I. (2000). *The temple: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Georgian Educational and Scientific Center*. Tbilisi.
- Tavelidze, I. (2014). *Days and sacrifices: Modern Georgian translations*. Arili.



- Trots'ki, L. (2016). *Vodka, church and cinematography*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1289/>
- Ts'khadaia, G. (n.d.). *Berny Sanders: interview*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=123/>
- Ts'khovrebadze, S. (February 5, 2017). *Arturo Benedeti Miceli Angelo - Italian Perfectionist*. Arili.
- T'avdgiridze, K. (February 29, 2016). *City and cave*. Semiotika.
- T'eimuraz K. (2009). *Identity and Nationalism*. Tbilisi: Akhali azri.
- T'inikashvili, D. (January 10, 2012). *Time Percussion with Augustine, or "In You, Soul, My Time, I Think Time"*. Retrieved from https://semioticsjournal.wordpress.com/2012/01/10/davit'-t'inikashvili_-drois/
- University: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Tbilisi: T'bil.
- Urushadze, I. (2016). *Liberal Criticism of Religion in Georgia*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1288/>
- Vanishvili, E. (April 29, 2011). *Zaza Burchuladze's Senseless "Inflatable Angel"*. Radio T'avisup'leba.
- Zark'ua, J. (Januart 20, 2015). *Have You been in France?* Arili.
- Zark'ua J. (November 5, 2010). *Reader's Day*. Arili.
- Zendania, G. (2007). *Birth of Georgian nation: Conference materials dedicated to Ilia Chavchavadze* Tbilisi: I. chavchavadzis sakhelmts.
- Zhizheki, S. (2013). *Do not love yourself*. Retrieved from <http://www.demo.ge/index.php?do=full&id=1060/>
- Zviad G. (2004). *Zviad Gamsakhurdia 65. Autonomous Republic of Abkhazia Republic Supreme Council, Jubilee Commissar of the 65th Anniversary of Zviad Gamsakhurdia*. Tbilisi: Lika.
- Андроникашвили, З. (2012). *Слава бессилия. Мартриологическая парадигма грузинской политической теологии*. Retrieved from <https://history.wikireading.ru/196855/>
- Андроникашвили, З. & Майсурадзе, Г. (2007). *Грузия-1990: филогема независимости, или Неизвлеченный опыт*. Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nlo/2007/83/an10.html>
- Барбакадзе, Д. (2003). *Между "ничто" и "нечто": наблюдения грузинского писателя*. Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/barb.html>
- Барбакадзе, Д. (2009). *Поэзия и политика*. Retrieved from http://magazines.russ.ru/nov_yun/2009/4/ba5.html
- Бурчуладзе, З. (2012). *Мы посреди нигде*. Retrieved from <https://lenta.ru/articles/2012/10/12/zaza/>
- Гусейнов, Г. (2012). *Интеллектуал не может нравиться обществу*. Retrieved from <http://gefter.ru/archive/2866/>

- Дубин, Б. & Гудков, Л. (2014). *Европейский интеллектual: попытка апологии субъектности*. Retrieved from <https://postnauka.ru/longreads/22471/>
- Нодиа, Г. (2010). *Goodbye Stalin*. Retrieved from <https://moldova.europalibera.org/a/2088433.html>
- Пирцхалава, Н. (1997). *Интеллектуалы и национальная принадлежность. Являются ли грузинские интеллектуалы советскими интеллигентами*. Retrieved from <http://poli.vub.ac.be/publi/etni-1/pirtshalava.htm>
- Робакидзе, Г. (2004). *Стержень Грузии. В ответ на статью Н. Мицишвили "Думы о Грузии"*. Retrieved from <http://magazines.russ.ru/druzhba/2004/3/robak20.html>
- Тесля, А. (2014). *Национализм: консервативная критика*. Retrieved from <http://gefter.ru/archive/11050/>
- Шатиришвили, З. (2003). *"Старая" интеллигенция и "новые" интеллектуалы: грузинский*. Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/shati.html>

**ФРОНТИР В МИРОВОМ
КОНТЕКСТЕ**

**FRONTIER IN THE WORLD
CONTEXT**

SOME QUESTIONS ON THE BEIDI HUNS

Borbála Obrusánszky (a)

(a) Karoli Gaspar University. Budapest, Hungary. Email: [borbala.obrusanszky\[at\]mfa.gov.hu](mailto:borbala.obrusanszky[at]mfa.gov.hu)

Abstract

Because of a fierce battle among crown princes of the Huns, the great Hunnic Empire was divided into two parts in 53 BC, when two brother, Huhanye [呼韓邪] and Zhizhi [郅支] fought for the throne of the Huns. The southern part led by Huhanye was submitted to the Han-dynasty. The northern part remained independent for a while, while the southern part, under the guidance of Huhanye Shanyu, concluded an agreement with the Han dynasty. The Huns received a wide ranging autonomy inside the Chinese Empire. A new situation emerged when the Han Empire weakened, from the second half of the 2nd century onward, and, instead of the elected emperors, eunuchs, and later on several warlords, who served the Han dynasty, acquired the main power, took control over certain territories of the former Han dynasty, and gradually created independent kingdoms. The Southern Huns were not able to achieve their independence from the Chinese Empire, because the great warlord Cao Cao [曹操] occupied a big part of the Empire, which contained the territory of the Huns. Right that period [3rd century CE], one significant portion of the Huns – the Beidi Huns – lived in the eastern part of Yellow River, today Shanxi province. The Jin shu chronicle [an official Chinese historical text covering the history of the Jin dynasty from 265 to 420] includes a summary account of their life and short history. I present some important details of that account.

Keywords

Beidi, Yellow river, Jin-shu, Northern dynasties, Xiongnu, Ordos, Cao Cao, Liu Yuan, Han, Shanyu



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ БЕЙДИ ХУННОВ

Обрушански Борбала (a)

(b) Университет Кароли Гашпар. Будапешт, Венгрия. Email: [borbala.obrusanszky\[at\]mfa.gov.hu](mailto:borbala.obrusanszky[at]mfa.gov.hu)

Аннотация

Из-за ожесточенной битвы между наследными принцами гуннов Великая империя хуннов в 53 г. до н.э. была разделена на две части. В этот период за трон сражались два брата, Хуханье [呼韓邪] и Чжичжи [郅支]. Южная часть во главе с Хуханье была подчинена династии Хань. Северная часть некоторое время оставалась независимой, в то время как южная под руководством шаньюя Хуханье заключила соглашение с династией Хань. Хунну получили широкую автономию в рамках Китайской империи. Начиная со второй половины II в. сложилась новая ситуация, когда Ханьская империя ослабла, и вместо избранных императоров, евнухи, а позже и несколько военачальников, служивших династии Хань, захватили власть, взяли под свой контроль некоторые территории бывшей династии Хань, и со временем создали независимые королевства. Южные хунны не смогли добиться своей независимости от Китайской империи, так как великий полководец Цао Цао [曹操] захватил большую часть империи, которая содержала территорию хуннов. Именно в этот период [III в. н.э.] в восточной части Хуанхэ, ныне провинции Шаньси, проживала значительная часть хуннов – Хунны Бейди. Хроника Цзинь шу (Книга Цзинь) [официальный китайский исторический текст, охватывающий историю династии Цзинь с 265 по 420 г. г.] содержит краткое изложение их жизни и их истории. В статье представлены некоторые важные детали этого повествования.

Ключевые слова

Бейди, Хуанхэ, Книга Цзинь, Северные династии, Хунну (сюнну), Ордос, Цао Цао, Лю Юань, Хань, Шаньюй



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

INTRODUCTION

Unlocking that Huns did not disappear from the Asian History and re-thinking the history of the Asian Huns poses a big challenge for the coming decades or centuries as well. Scholars must search and analyse the relevant Chinese chronicles, in order to find details about those tribes and states who lived in present day Northern China – Inner Mongolia, Shanxi [Eastern bank of Yellow river], Shaanxi [Northwestern part of China, edge of the steppe], Gansu [Province along the Yellow river], and others – and so to reveal their late history and way of life. In the present paper, using the chronicle most directly relevant to the subject, the Jin Shu chronicle, I deal with those Southern Huns in Chinese sources – who settled down in the present Shanxi and Shaanxi provinces and played an active role there.

Historical periods related to the Southern Huns are controversial among scholars. Colleagues who deal with history and civilisation of the Eurasian steppe claim a rapid merging of the Huns into the Chinese society from the 2nd century CE onward, while only a few place that process in the first decades of the 3th century. Contrary to the main stream point of view which states that Southern Huns also disappeared Asia from the 2nd century CE [Barfield, 1979; Hyun, 2005]. Several archaeological and historical summaries assert that the Southern Huns quickly assimilated into the Chinese.¹ Some authors think that they disappeared from history in 216, when Cao Cao abolished the title Shanyu and divided the Huns into five administrative units. The historiographical situation is the same regarding the Northern Huns. Most literature mentions that their state was abolished in 90 CE, when the Xianbei [Eastern neighbour of the Huns, who lived in present day Manchuria] attacked them (Grousset, 1970; Hyun, 2015; Iishjajmts, 1994; Twitchett- Loewe, 1995). Based on this theory, historians argue that there is a connection between the Asian and the European Huns. However, that inference is refuted by contemporary Chinese chronicles. According to the Hou Han shu [Chinese chronicle, the translation is: History of the Late Han], the Xianbei did not attack the northern Huns in the 90s CE, but a Southern-Hun-Chinese-Xianbei coalition attacked the northern territories, and the majority of the army was formed by the Southern Huns.² Although the attack chased away the ruling Shanyu (88-?) [His name is unknown], who escaped northward, but a new Shanyu or his brother, Yuchqian (91-93) emerged and ruled the scattered people. The state itself faced a difficult economic situation, but no source asserts that the Hunnic

¹ Luo emphasis that Southern Huns lived inside the Han border and had history of intergration, not assimilation (Luo, 1999, p. 442).

² The number of the attacking army could be around 38 thousands, the Southern Hun has sent 30 thousand.



state was over. Moreover, the Chinese Hou Han shu reported that a new Shanyu was elected, and submitted politically to the Chinese Han dynasty in 93 CE.³

If we read the contemporary Chinese historical sources and publications carefully, we can find plenty of mistakes and misunderstandings regarding the history of Asian Huns, or Xiongnu, from the 1st CE onward. Some scholars who accept the old theory that the Huns assimilated to the Han Chinese, want to minimize their historical role in Inner Asia. On the other hand, the Chinese sources from the period mention the Huns (as Northern Savages, Northern Thieves, Beidi, etc.) over a time span of nearly six hundred years, from Shi Ji [*Chinese chronicle from the 2nd century BC*] to Zhou Shu [records the official history of the Chinese and Xianbei people. It was completed in 636 CE]; moreover, if we count the pre-Qin accounts and records, we can extend the written history of the Huns to nearly a thousand years.⁴ In order to understand what happened with the late Huns, we need to summarise their history. The above-mentioned chronicles mention the origins of the Huns, beginning with Touman (?-209 BC) and Maodun Shanyu [209-174 BC] ascending the throne until the division of the Hun Empire into two parts (51 BC). The next phase is the history of the divided Huns, mainly of the Southern Huns, who joined the Han Empire. The Han chronicles (Books of Former and Late Han) dedicated whole chapters to them (Batjargal, 2016b), but the Northern Huns also appear in the chapter on Western Regions.⁵

We can find evidence that the Huns – both Northern and Southern – did not disappear, but that they contributed to the historical events of the first half of the 2nd century CE.

Since the second half of the 2nd century, the Han Dynasty weakened, and instead of the elected emperors, the Eunuchs took control of the whole country. The ultimate weakening of the empire and its split into parts were caused by the rebellion of the yellow turbans. At that time some warlords, or great military leaders of the Han dynasty, seized regions and established their own government and administration, and gradually formed independ-

³ He got state seal, four jade swords and one chariot from the Han court. Hou Han shu 89. (Batjargal, 2016b, p. 53). The Northern Huns weakened in the end of the 1st century AD and did not threaten the border of Hans, there is no records about them. But the Hou Han shu mentions them in the middle of 2nd and 3rd century CE. Later, the Bei shi also recorded that remnants of Xiongnu or Huns lived both the western regions and north, neighbouring the Dinglings. Hyun 2015 also mentioned that Northern Huns remained in Altay region until the 4th century CE, and Southern Huns stayed in Ordos. Regarding the Late Huns L. Bei Si 97. juan. “The remnants of the Huns live from the north-westward to Juanjuan» (Csongor, 1993, p. 21).

⁴ There plenty of Pre-Qin historical sources. Bamboo annals, Lun Yu, Zuo Zhuan, etc.

⁵ Hou Han shu 88. L. Hill, 2004. In: http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/hou_han_shu.html

ent kingdoms. By the end of the 2nd century, the Eastern or Late Han Empire was disintegrating into chaos. In spite of these developments, the biggest warlord Cao Cao occupied almost the entire part of the Empire. He established the Wei or Cao Wei [220-266] state, whose successor state became Jin [266-420]. The Xiongnu and the rising Xianbei took advantage of China's weakness and acquired territories in the northern and north-eastern part of the Former Han-dynasty.

SOUTHERN HUNS IN THE 3RD CENTURY

The history of the late Southern Huns was summarised by the Book of Late Han or Hou Han shu, edited during the Wei period, or the middle of the 5th century. Chapter 97 of the other relevant source, Jin shu, concerns the Beidi Huns: with a brief summary of their origin and deeds and what happened to them after Huhanye joined the Han dynasty and of their division into parts, and a description of their titles and tribes.

The era of the Beidi Huns, or the 3rd through the 5th centuries, was a special period in the River Yellow bend region because, following the collapse of the Han dynasty, non-Chinese peoples reigned in present-day northern and central China.⁶ Among them was one influential power, the Huns, who were able to obtain independence since the beginning of the 4th century, and united present-day Northern and Central China as well. So, the Chinese sources prove that the Hunnic state did not disappear from history. On the contrary, the Huns got stronger between the 3rd and the 6th centuries.

As the Book of Late Han also refers to the fact that the royal clan, Xu Luanti [Royal line of the Huns] family, remained dominant in both parts of the Northern and the Southern parts of the Huns.⁷ There is a special exception, the Northern Liang [Kingdom of the Huns between 397-440/460] Dynasty, whose king did not originate from the royal Hunnic clan. He was only a high-ranked nobleman, a wang who gathered and united those Hunnic tribes that lived on the southern and south-western side of Yellow River.⁸

On the basis of Book of Jin, Wei and Liang [Chinese Chronicles of Jin, Northern-Wei and Liang dynasties], we find that the Huns were able to preserve their independence until the 430s, when the attacking Xianbei army, or the Northern Wei [Xianbei state 386-535] Dynasty, invaded their headquarter and occupied their land. Despite these events, the Huns did not

⁶ The period has two kinds of names: Three Kingdoms and Five Barbarians 16 Kingdoms.

⁷ Jin shu, Hou Han shu.

⁸ Juqu: Xiongnu surname derived from the official title. (Xiong, 2009, p. 273). Lushuihu: Ethnic group that branched off the Xiongnu. (p. 349)



disappear suddenly; instead, they lost the chance to live in an independent state. They still lived in the Ordos and in the former lands [The northern belt of present China: Inner Mongolia, Shanxi, Gansu, some parts of Shaanxi and Xinjiang provinces.] today comprising Inner Mongolia and Gansu and Xinjiang [*The westernmost province of China*] provinces. Some scholars believe that the Southern Huns did not disappear until the 6th century, and that a subset of them played a major role in the establishment of the Northern Zhou Dynasty.⁹

And now, I present some details from the Jin Shu record. The first debated question is the origin and the earliest, ancient history of the Huns. On this subject, the record contains the same statement as did the earlier historians.¹⁰ While I do not wish to address the subject here, let me note only a few historical results related to it, in order to shed light on the subsequent course of the history of the Beidi Huns. At present, three major theories are accepted by scholars all over the world on the origins of the Huns (Lee-Linhu, 2011, p. 193.). Among them, two concern our topic. The first theory puts the earliest centre of the Huns in Northern China, including the Ordos. Chinese scholars, Ma thinks they came from the territory of present Shaanxi Province (Ma, 2004).¹¹ Mongolian archaeologists say that the Huns originated from the Bronze Age cultures of Mongolia and Inner Mongolia (Turbat, 2013). The archaeological evidences are supported by Chinese written sources, which record that the Huns had lived in those regions for a long time. Not only the above presented Shi Ji or Historical records, but the Jin shu chronicle also contains a summary report of where the Huns had come from:

“The Huns are generally called Beidi. The Hun area borders on the south with the Yan [ancient Chinese state 11-3rd century BC]¹² and Zhao [Ancient Chinese state 403-222 BC]¹³ countries. The northern part is desert,¹⁴ their neighbour Nine

⁹ Yuwen Hue (542-557) he was the founder of the dynasty. Crespeny mentions he was Xiongnu or Hunnic origin (Crespegny, 2006, p. 655).

¹⁰ The chronicle was edited in 648, in the period of Tang dynasty. They used the ancient documents. Fang Xuanling, the Chancellor of the Emperor Court has supervised the editing work. It contains some important chapters, which mention Southern Huns. The Chapter 101-105 recorded the history of Liu clan, who established a dynasty in Yellow-river bend. The chapter 129 mentions life and activities of Juqu Mengxun, who founded the Northern-Liang dynasty in the end of the 4th century. The chapter 130 mentions Helian Bobo's life. He was the founder of the Da Xia dynasty.

¹¹ They think that one ancient settlements of the Huns located the western part of Shaanxi province. Lee-Linhu also states that.

¹² Ancient state, which is located in Eastern Inner Mongolia, surroundings of Beijing, and some parts of Manchuria.

¹³ Ancient Chinese state. It is located in Shanxi, Hebei province.

¹⁴ It may refer the part of Gobi, which is not totally desert, only a few percent of it.

Yi [Non-Chinese people, who lived northern part of Chinese states]¹⁵ in the east, and in the west by six Rong-s [Non-Chinese people, who lived in the western part of Yellow river]. From generation to generation, they have chosen their rulers and officers from among each other, but they do not follow Chinese customs. In Xun zhou [maybe Shang or Yin dynasty period 18-11 th century BC] and in the Yin [the other name of Shang dynasty] era the Huns were called as guifan,¹⁶ in the Zhou period [1045-776 BC] era their name was xianyun and they became xiongnu during the Han Dynasty period. Sometimes they grew stronger, sometimes they weakened and declined (Watson, 1961), but they always insisted on their habits while respecting other people, all of which has been recorded in earlier sources.”¹⁷

The earliest Chinese written documents mention some strong northern tribes. One of them could be the ancestors of Huns, because the paragraph above summarises the history of Huns, not other people. Similarly, Sima Qian, the great Chinese historian, recorded in his chronicle, Shi Ji in the 2nd century BC, that Maodun's or Hunnic royal clan derived from the Xia dynasty [Ancient dynasty in the Yellow river region, 2200-1800 BC], which is not surprising, since many dynasties dominating China were of foreign origin. Here is a summary: “The ancestor of xiongnu clan was a descendant of the Xia royal family, Chunwei [The last emperor of the Xia-dynasty around 1800 BC]. Already before the times of the Yao and the Sun Emperors, there were shangrong [Non-Chinese people in the western regions of the Yellow river],¹⁸ xianyun [Ancient name for the Huns. According to Chinese linguistics, as Wang Li, the pronunciation of the word is the same with Huns] and xunyu [Ancient name for the Huns] peoples who lived in the north and followed their animals from one area to another» (Watson, 1961)¹⁹. Not only the Chinese historians, but the Huns themselves kept in their memory, as the ancestor of the Huns, the Great Yu, founder of the Xia Dynasty. That was one reason – according to Jin shu, chapter 130 – that Helian Bobo [Shanyu of the Huns. 407-425] named his own dynasty and

¹⁵ The classical Chinese texts as Shu Ji mentions nation yi and writes it as a man with bow. The nine Yi can be found in the Lun Yu book, which summarises Gong Zi's teachings. He wanted to live among them. Lun Yu 9.14. In: <http://www.acmuller.net/con-dao/analects.html> <http://www.acmuller.net/con-dao/analects.html>

¹⁶ The name guifan is a name of the northern tribes, who fought with Shang-dynasty between 1600-1046. BC. The Chinese historians identified them with xianyun and xunyun, and recorded that they were ancestors of the Hun. The name itself is a composite word, where gui meant „ghost or demon”, and „fang” means „place”. The meaning of the expression means: „the place of demons/ghosts”.

¹⁷ Perhaps, it is an extract of the ancient Chinese chronicles. The Hunnic and the Chinese customs and customary laws were totally different as Sima Qian recorded it. The Southern Huns preserved it, did not accept the Chinese one.

¹⁸ They are a strong horsemen alliance who lived in Northern Hebei, surroundings of Beijing, etc. The Chinese archaeologists identified their graves. The objects were similar to the Ordos-Xiongnu bronze culture.

¹⁹ Shi Ji 110. L.



country Da Xia [The name of the Southern Hunnic state. It was established by Helian Bobo. It existed between 407-431], in other words, the Great or the Ancient Xia.

Chinese historical sources e.g. oracle bones mention xunyun tribes or people in the Shang dynasty, while the xianyun tribes or people lived in the Zhou dynasty period. Various names existed for describing the Huns, because there was no united kingdom in China at that time and the small Chinese kingdoms created their own expressions for the Huns, but Chinese linguists inform us that the above names have the same pronunciation – „Hun or Hung” – which sounded like the later expression Xiongnu (Wang Li, 1962), and acquired the special characters, 'xiong', for the Huns. The first record of using the new expression of xiongnu is only from 318 BC, when the unifying Chinese kingdoms began to use that version of the word, after which time this name spread across the kingdoms. Moreover, the first unified Chinese Empire, the Qin also accepted that name. However, other early names related to the Huns remained in use, such as bei di [Translation is: Northern Di, or non-Chinese people], xunyun, lu [slave], hu [Chinese word: beard. It has the same meaning as Barbarian in Greek-Roman world], and others.²⁰ The Hou Han shu refers to the Northern Huns as „northern savages» (Batjargal, 2016b).²¹

The above mentioned historical records, which describe the northern horsemen, give a very concise summary of the history of the Huns, and tell us that they sometimes united and sometimes split. Sima Qian summed up that history as follows: “More than a thousand years have passed from Chunwei [or the last Xia ruler] to Tou-man's [Shanyu of the Huns during the 3rd century BC] domination, during which time the tribes were divided into several groups, their numbers sometimes increasing. So it is impossible to give an account of the descendants of the Hun leaders.”²² Because the Huns had no strict law for succession to the throne, the crown princes fought for the throne and it was the main reason for the division of the empire. Then, in turn, a talented ruler could unite the tribes again. In fact, many renowned sinologists also mention the impact of such talented Hun rulers on early Chinese dynasties. The Jin Shu chronicle gives a very concise situation report on the causes of the split of the Hunnic Empire, which was caused by a war among Hunnic crown princes. Both Hou Han shu and Jin shu report that Huhanye [*Shanyu*, 53-31 BC] joined the Chinese Han

²⁰ According to Uchralt, the early Chinese pronunciation of the name could have been the same as that of the later Xiongnu, which was in the BC.

²¹ Hou Han shu 89. It is rather similar to Bai Di or White Di tribes, who lived around 6-5 th centuries BC. They were one of the strong northern horsemen.

²² Shi Ji. 110.

dynasty, and Hou Han shu mentions that the Shanyu grazed in Wei River²³ area, and when he held sacrifices or ceremonies, the whole river bend was full of horses (Batjargal, 2016b). Jin Shu designated the old Bing Province as the centre of the Huns where the Han Dynasty resettled. The eastern province of Yellow River, today Shanxi province, was the buffer zone between the two empires. The famous Battle of Baideng [near today's Datong]²⁴ in 200 BC took place in this zone, where the Huns encircled the Han Emperor. This special zone was important for the Han dynasty, as they wanted to defend Chinese inhabitants from the Northern Huns, who had threatened that region severely. Later on, the other Northern tribal confederation, the Xianbei [*Non-Chinese people, who occupied Northern China during the 3rd century*], who had expanded westwards, posed a threat to both the Han and the Huns, and so the Han and the Huns were also trying to stop them at the eastern part of Yellow River.

The history of the Southern Huns in the 3rd century AD is missing from most publications, apart from papers related to Sinology. The reason is that most scholars think that the Huns had already disappeared from history by that time. But Jin Shu chapter 97, wrote down their deeds and it did not seem to disappear from history. Moreover, the Chinese officials had a fear that the Huns would grow strong and unite the tribes around them, so they tried to divide the Huns. The Huns lived close to the Chinese capitals, Changan [today Xian, ancient capital of China] and Louyang [Ancient capital of China.], and they were able to invade and rob those cities at will, and devastate the surrounding settlements. The most significant attack was in 195, when they invaded Changan and kidnapped a poet, Cai Yan [famous woman poet of the Han-dynasty.], who became the consort of the left wise king. She stayed there for 12 years and General Cao Cao could evict her from the hostage. The declining period of the Southern Huns was connected to General Cao Cao, who had proclaimed himself as king of Wei in 216. One of his first declarations eliminated the unity of the Huns, because he was not the ruler of the Han and was not bound by the agreement between the Han and the Huns.²⁵ The basis of a hostile relationship was the Huns fought against Cao Cao and supported another warlord at the very beginning of the 3rd century. That's why Cao Cao wanted them to disperse.

In 216, Huchuquan Shanyu travelled to Cao Cao court in Ye to receive the nominal title.²⁶ Cao Cao did not allow the Shanyu to go home, so

²³ The river is located in the southernmost part of Ordos.

²⁴ Baideng is located in the eastern part of Datong city. (Shanxi province, China) The Chinese authority created a monument.

²⁵ Barfield 1979. He summarised the agreement between the two parts. About Cao Cao policy towards the Huns: (Crespigny, 2010).

²⁶ Present day Handan, Hebei province.



the Shanyu remained in captivity and died in Cao Cao's court. After his death, the title Shanyu was abolished. Although the Cao Cao administration weakened the Huns it does not mean the end of the southern Hunnic state. After that Cao Cao created a new administrative unit, so that he divided them into five parts, and settled them on the left bank of Yellow River. The Jin shu recorded this event as follows: „The eastern provincial du wei [official title of the Huns] led more than 10,000 households and was based in Zhen [*Eastern part of the Yellow river*] District.²⁷ The southern provincial officer of the du wei led 3,000 households and lived in Pu zi [*Southern part of the Yellow river*] country.²⁸ The du wei officer in the northern province led 4,000 households and lived in Shin shen yan [*Unknown place*]. The head of the centre of du wei was headquartered in the middle of the country, led 6,000 households, and lived in Da Lin [*Somewhere in present day Shanxi province*]” (Batjargal, 2017)²⁹. This summary does not mention the disappearance of the Hunnic state, but merely describes new divisions of the Huns, and proved that the Huns continued to live in an organized framework.

Cao Cao himself did not want to do that: in place of the Shanyu, he appointed a Chinese official to control the Huns. Regarding Cao Cao ordered him to rule over the north partition of Pingyang Xiongnu as Tiefu Right Virtuous King Qubei [*Leader of the Southern Huns, 260-272*], or the western wise king to lead his own people, but placed a Chinese official above the Huns. They wanted to prevent the Huns claiming independence from the Chinese. The Chinese chronicle mentioned that, "In the time of Wu Di [Title of the Chinese Emperor], the commander of the equestrian army was Qiang Xie [personal name] of the Du [or *commander*] Officer Qi Qu [personal name]. They put their own people among the Huns to keep them under control. It seems that there was a Hun person who reached the highest, duwei dignity” (Batjargal, 2017). We also find the report that, “In the province, venerable people have been appointed leaders and elected by the Chinese, who were smooth officers to oversee them. At the end of the Wei dynasty, these leaders were replaced by du wei.

Despite Cao Cao's decrees, the Huns did not weaken, but grew stronger and proliferated in the new threat. The Jin shu described the transition as follows: “Many years passed and households multiplied. The northern areas were full, and they could not stop it by decrees. At the end of the late Han Dynasty, riots began, and many officials said that, 'The Huns are very

²⁷ It is probably the modern Xin zhou district in the central part of Shanxi province.

²⁸ It is probably the modern Xixian district in Shanxi province.

²⁹ Jin shu 97. It was the centre of Bai Di or White Di in the pre-Qin period.

cunning. They've become robbers and threaten us. It is good to be cautious ahead of time!"(Batjargal, 2017).

The fearlessness of the Hunnic overpopulation was a real threat from the Chinese perspective. The Huns remained in their former territory of Inner Mongolia and in their resting place, the present-day Northern China, but in addition they appeared in the Central Plain, which was the motherland of the Chinese people. The Chinese inhabitants of the cities of the Silk Road escaped from there and looked for better places to live. The Chinese population decreased. After the collapse of the Han dynasty came the turmoil and wars of the Three Kingdoms, in which period the population diminished to 25 million by 280 CE, although it may have been as low as 16 million – an apparent loss of 30 million (Marks, 2011, p. 106). Those affected Chinese were successors of Chinese farmers who had been resettled in the western part of the Yellow River and beyond by Emperor Wudi [title of the emperor] to defend the northern access to China.³⁰ So, the Chinese people left the sparsely populated lands of former Yuezhi [western part of the Yellow river] and Hunnic lands, and moved to the Yangzi [southern part of today's China] valley and the south coast, the present-day Fujian [South-China] and Guangdong [South-China]. Parallel to that migration, northern tribes or groups of Huns settled down in those places, meaning that the ethnic proportion changed, and the so-called “northern people” or Huns attained a demographic majority.

Not only did the Southern Huns multiply, but the Northern Huns, who had suffered from natural disasters, also asked for admission into the empire, beginning in the 1st century CE. The History of Southern Huns narrated in the Hou Han shu and Jin shu also mentions migrations. Northern Huns were often decimated by natural disasters, depletion of fauna, or migration, and some tribes asked for subjection to the Han empire.³¹ The Jin shu mentioned the following:

After Wu Di was seated on a throne, the Huns who lived outside had a great flood, and so the sai ni ni [name of the tribe], the he nan [name of the tribe], and other tribes – more than two tumen (or 10,000 households) – submitted to China. The Emperor welcomed them and deployed them to the old Yi Yang [somewhere in Shanxi province]³² town on the right bank of the river. Later they joined the nations of the Jin [Chinese state 266-420] state. Ping yang [Centre of the Beidi

³⁰ Hou Han shu 88.

³¹ Thousands of Northern Huns moved to the Han-dynasty around 91 CE. (Twitchett- Loewe, 1995, p 405; Batjargal, 2016a, pp.89-90). According to Hou Han shu, the Northern Huns have joined the Southern Huns, not Xianbei.

³² The name of a place near Louyang, the former capital of the ancient Han dynasty. It is between the Yellow and Luo rivers.



Huns], Xi He [Linfen], Tai Yuan [capital city in Shanxi province], Xin Xing [part of many of the prefectures of Le Pin, all lived well.]”

In Tai Kang's period (280-289), tens of thousands of people also requested admission to the Three Kingdoms.³³

However, the literature suggests that the population of the former Han Empire dropped dramatically prior to and until 280, especially in the northern region.³⁴ So, despite the old theory of the Huns' rapid assimilation to the Han Chinese, the relevant historical records present that the number of the Huns increased greatly in the late Han dynasty and during the Three Kingdom period. The ancient Chinese capital, Changan – or, more precisely, the northern part of the city and the region of the Wei River, which belonged partly to Ordos Plateau, settlements of non-Chinese people. This part of the city and the river region were suitable for keeping flocks. In Guangzhong [city], today's Shaanxi Province, contemporary sources report that about half of the population was not Chinese (Liu, 2001, p. 4).³⁵ During and after the Three Kingdom period, not only Huns, but the Qiang [*Ancient Non Chinese tribe*] and the Di [*Ancient Non Chinese tribe*] people also resettled there (Twitchett-Loewe, 1995, pp. 426-427). The situation did not change even in the middle of the 5th century. This was the reason for the Northern Wei Dynasty relocating not to Changan, but to Luoyang. In General Lu Si's biography, we can find the following explanation: “Changan City and its surroundings are in danger. The people there are wild and hardy...” (Liu, 2001, p. 9). The fears that the Huns rebel against the Chinese was a real danger. The chronicle Jin Shu records the rebellion led by a certain Meng [*Hun*], and reports the following: “There is the qi mu [*name of the tribe*] tribe and the le [*tribal name*] tribe in their country. We are all strong people. They are rebellious» (Batjargal, 2017). The Chinese were only able to defend themselves against the rebellions by altering their population, so they sought to break the power of the Huns and reduce their numbers. However, that approach was not sufficient to stop the horsemen.³⁶

Not only the late history of the Huns or the Xiongnu, but also their social organisation, is a debated question among scholars. Some question the

³³ Tai Kang's fifth year the Hunnic A hou tribes alliance lead by Hu tai with two ten thousand armies joined China. In the seventh year, Hunnic Hu du da bo and Lou sha hu submitted people to China, whose number exceeded more than 10 ten-thousand and Wei zhou Ci shi officer at Fu pon wang prefecture submitted to China. The next year the Hunnic dudu official together with Da Dou Do Yi Yu clans also arrived and submitted to China with two ten thousand cattles and ten thousand ships.

³⁴ The population of the Han Empire was 56 millions in the middle of the 2nd century CE, it reduced 20 millions in the end of the 3rd century CE. (Marks, 2011, p. 106)

³⁵ The Huns settled down there mainly in the period of Later Zhao-dynasty. (319-329)

³⁶ The Wei army settled down four ten-thousand or 40.000 families there and filled the territory with other ones. Their descendants did not rebel against China.

existence of a Hunnic state, despite plenty of evidence (Sneath, 2007). Others place the process of state formation relatively late, or in 209 BC, when Maodun became the Shanyu. We will probably never be able to set an exact date for the establishment of the Hunnic state, but the sources clearly claim that the Huns had a state, named 'guo' in Chinese – like the Chinese state. The terminology means that the authors knew that the Huns were not a headless organisation, but had a very strict administration. From a historical point of view, it is more accurate to say that when they appeared in the Chinese sources, Maodun's ancestors already had a well-organized state formation. The first detailed description was given by Sima Qian in his chronicle, who wrote not only about the leaders of the Hunnic administration and Hunnic dignities, but also about the nature of the state. He listed the great Hunnic holidays and customs, and even some special laws of the Huns. Chinese chronicles report that the Huns lived in a specific territory and were divided into tribes, each leader being responsible for his own area.³⁷ It was an important observation that the Huns insisted on possessing their own land, which was the foundation of the state.³⁸ Probably, as with later nomadic peoples, the owner of the whole country was the state and the tribes lived on it and divided the pastures. The Shanyu appointed the local administrative leader among the Huns in order to coordinate tasks and duties. Decimal or ten system was one characteristic achievement characteristic of the steppe; it was the crucial part of the central administration of Shanyu, a system that stood above the local tribal self-governmental system. State dignities were inherited; one such dignity was *guduhou* [*Hunnic official*], which is a subject of the *Hou Han shu* chronicle (Batjargal, 2016b).³⁹ Those who refused to accept the Shanyu's decrees or betrayed the state or the Shanyu, were removed from office and replaced. Chinese sources mention that the most important leadership positions – such as the wise king and the *luli wang* [*the deputy of the wise king*] – were held by members of the Hun ruling clan. The Shanyu appointed their sons and relatives for these highest positions. Boodberg considers the names of the Hunnic dignities to be expressions for kinship (Boodberg, 1979, p. 5). Unfortunately, *Jin shu* does not mention the governmental or administrative system of the Beidi Huns and the Da Xia [407-431] Empire, as earlier sources had done. *Shi Ji* and *Hou Han shu* record information on the three great festivals of the Huns, when they convened a parliament to discuss state affairs and held ceremonies (Batjargal, 2016b). *Hou Han shu* also ex-

³⁷ *Shi Ji* 110. The system remained intact later also. Mongolians, Hungarians, etc. steppe people inherited that customary law.

³⁸ *Chronicum Pictum* 24 says: If the land, the grass and water is theirs, all of them are theirs."

³⁹ *Hou han shu* 89. According to the source, each wing had the *guduhou* title.



plains that the Hu Yan [*leading Hunnic clan*] tribe was responsible for the eastern duties of judge, but that the Lan [*leading Hunnic clan*] and Xubu [*leading Hunnic clan*] tribes received the western wing for the same purposes (2016b). In comparison to this material, the Jin shu chronicle is very laconic, and has little information on the structure of the Hunnic state. The author does not write about legislation and judgments, and we do not know about the ceremonies of the Huns of that time. However, it lists the names of the nineteen leading or influential clans known at that time: the government

“is divided into strains of Beidi. Inside the boundaries, there are: tu ge, xian zhi, kou tou, wu dan, chi le, han zhi, he lang, chi sha, yu bing, wei sha, tu tong, bo mie, qiang liang, he lai, zhong qi, da lou, yong qu, zhen shu and li zhie – nineteen clans in total. They do not marry among each other. The Tu Ge clan is the first. The Shanyu comes from there and leads the tribes...” (Batjargal, 2017).

According to the steppe customary law close relatives did not have the right to marry each other, which is why the Huns memorised their family trees across seven to nine generations. The importance of this sentence is that the Huns did not forget their ancient customary law; thus, they did not assimilate into Han society, but kept to their ancient rules. However, the numbers of the clans are too high for their members to have all been each other's relatives. Exploration of the tribal names in the above list is still awaiting; in some cases, we only rely on assumptions. For us, determining the identity of the leading clans may be essential.

The Hou Han shu chronicle says that Xia Luanti [*leading clan of the Huns*] was the name of the Shanyu's clan – a name which Uchralt reconstructed linguistically (Uchralt, 2015, pp. 219-235). The Jin shu states that the Shanyu came from the Tu ge [*Hunnic clan*] clan, but this could be a mistake. It is likely that Tu ge is not a name of the clan, but a title expressing high rank – wise, or tuqi [*wise in Hunnic language*] – the highest dignity after the Shanyu. The left wise king was the title of a crown prince. Sima Qian mentioned the meaning of the title in his book. Apart from Jin shu, other Chinese sources provide the following list of leading Hun kindreds:

“...Hu Yan, Fu, Lan, Zhao [four leading Hunnic clan] (Batjargal, 2017). Hu yan is the highest among them. There are the eastern ri zhu wang [official title of the Huns], the western ri zhu wang. They help each other. The members of the Fu tribe serves as eastern zhu qiu [official title of the Huns] and the right zhu qiu. All are strong and brave. Members of the Lan tribe are the supervisors of the western and the eastern settlements. The members of the Zhao tribe are the eastern du hou [official title of the Huns] and the western du hou. There are mixed names, such

as che yan [Hunnic tribe], zhu qiu [Hunnic tribe], yu di [Hunnic tribe], etc. They show similarities to the titles of Chinese officials.” (Batjargal, 2017)

The Hu yan tribe already appears in Sima Qian, and later the Hou Han shu also mentions the tribe in connection with regarding the Han-Xiongnu war [121 BC-150[CE] for the Silk Road (Batjargal, 2017, p. 27). The Lan clan was also recorded in both historical chronicles. The Hou Han shu says they had a right to marry with the Shanyu clan. The name of the Xubu clan appears only in Shi Ji and Hou Han shu; later on, this clan is referred to as the clan of the Southern Huns, but the Jin shu no longer mentioned Xubu (2017). Was it possible to get out of the leading clans? If they rebelled against the Shanyu, or committed crime, it was possible to remove them from power (Chronica Pictum, 1976, p. 6). Jin shu mentions two new leading tribes, Fu and Zhao, and other tribes: "In their country, there are the qi mu [Hunnic tribe] tribe and the le [Hunnic tribe] tribe" (Batjargal, 2017). Moreover, there were other notable Hunnic tribes in the He Dong area [Eastern part of Shanxi Province, China]. One of them was Yuwen [Hunnic tribe] (Crespigny, 2006, p. 655). Thus, we can observe that over time the list of leading tribes was replaced. Most researchers who deal with the state administration of the Huns do not pay attention to the changes or reforms, although the historical accounts mention different titles over the span of nearly 500 years. It is likely that some reforms took place there, but the Chinese sources did not record them. The Huns had to modify the administration system because they met new challenges. Jin shu does not follow the process of alteration of the administrative system, but it can be seen from the office titles that the division of the empire into three parts remained: the middle belonged to the Shanyu, the left wing was the territory of the crown prince (who was the son or brother of the Shanyu), and the right wing was directed by a man from the Shanyu's clan. The left wing was the most advanced, and so it was listed first. These three areas followed the territorial transformation of the Hun state. While at the time of the Great Hunnic Empire the eastern province stretched through Korea, in the period we are concerned with, the 3rd century CE, it was submerged into a part of the present-day Shanxi province, or the left bank of Yellow River.

According to customary law, the eastern wise king was still the highest rank, and was usually appointed as Shanyu,⁴⁰ but only restricted people acquired the right to have that office: the brother or the eldest son of the

⁴⁰ Jin shu: „The eastern wise king is the highest title. The crown prince is appointed there.” The same is: Hou Han shu 89. (Batjargal, 2016b, p. 35; Watson, 1961). The same system would operate among the European Huns, where the crown prince got the eastern wing or the territory between Tisa-and Don rivers. L. (Obrusanszky, 2016)



Shanyu. In *Hou Han shu* we find some examples of how Shanyu's son or brother was elected. The Chinese chronicle contains good expressions for the eligibility for that election: „It was worded as follows: 'based on the brother's right' or 'based on the son's right'" (Batjargal, 2016b, p. 35). However, the customs of the Shanyu's election and the right to the throne did not change during the period of the Southern Huns: later on, the Shanyu's brothers and sons were to fulfil the highest dignities, so that the right to lead the empire remained inside the family.

The status of the Hunnic state was also modified during the above mentioned period, from the 3rd century BCE to the 3rd century CE. Sima Qian was the first to describe how the united, large Hunnic state operated in the 3rd and 2nd centuries BCE. In the subsequent phase, the great empire fell apart into two parts, of which the northern remained independent, but the Huns led by Huhanye were surrounded by the Chinese Han Dynasty (Batjargal, 2016a, pp. 120-121), a development that posed a serious change for them. However, the Huns and the Hans concluded an agreement regarding their mutual rights and obligations, to which they referred later.⁴¹ Because of their accession, the southern Huns renounced their independence; however, the Chinese party granted them autonomy, and the ruler was allowed to retain the Shanyu title. According to the agreement concluded by Huhanye with the Han Emperor, the Shanyu retained the right to govern those Huns and bow-stretching people who lived outside the Great Wall (Batjargal, 2016a). The Shanyu also had the right to keep the supreme power above the Huns, but in fact the Southern Huns became vassals of the Han dynasty, and so the Shanyu lost his freedom. Despite the transition of the Hunnic settlement and of the status of the Hunnic state, some publications have analysed the administration of the Southern Huns, and have claimed to discern a continuous, standardized state administration of the Huns (Pritsak, 1954). The subsequent, brief records demonstrate that two centuries later the Huns lived under Chinese rule, so they were still not independent. The titles and ranks mentioned in *Book of Late Han* are not likely to have been really functioning ones, because the record describes only sacrifice, not state administration. That record concerns how to sit, and what positions the nobles were to assume, in the ceremonies. Who knows whether six horns or four horns were real titles of the leaders, or served as details related to sacrifice? (Batjargal, 2016b). The first possibility is doubtful, because no other Chinese sources mention those ranks or titles of the Huns.

⁴¹ The agreement was concluded by sworn brotherhood. In: (Batjargal, 2016, p. 117; Obrusánszky, 2016).

We can also find similarities in the titles reported in Sima Qian's chronicle and in Jin shu, but there are differences as well. While Sima Qian refers to tuqi wang [wise king of the Huns], luli wang [deputy officer of the wise king], da jiang [great general], or to great generals – da dou wei [big commander], da tang hou [Hunnic official], and gudouhou [official, who responsible for the juristical deeds] – the Jin Shu mentions some different names. The Jin shu does not report commanders of the 10,000, but lists other titles: the left and right luli wang, who was the second most important leader, ranked after the wise king. Those are followed by a series of other titles: western yu lu wang [Hunnic officer], eastern yulu wang, eastern cang shang wang [Hunnic officer], western cang shang wang, eastern shuo pang wang [Hunnic officer], western shuo pang wang, eastern du lu wang [Hunnic officer], western du lu wang, eastern xiang lu wang [Hunnic officer], western xiang lu wang, eastern an le wang [Hunnic officer], western an le wang, and others – adding up to a total of 16 dignities. All of them are described as filled by the Shanyu's sons and brothers.”⁴² Unfortunately, these dignitaries are still awaiting additional explanation and research, but what we can notice is that the bureaucracy increased in comparison to the past, when a small area was led by 16 leaders. The basic arrangement – the triple division of the wings – remained. That continuity means that, during the dependency on the Han, the Huns were able to preserve their core administrative system.

CONCLUSION

The short summary concerning the Beidi Huns in the Jin shu is very useful for the research of the Southern Huns during the 3rd century. It shows how Huns fought for their independence in the total hopelessness period, and how they kept their ancient steppe customary law in a foreign environment. It also sheds light on how they later achieved their goals in 304, when Liu Yuan was able to establish an independent Hunnic State in the territory of the former Han dynasty.

References

- Batjargal (2016a). *Хан улсын бичиг. Хүннүгийн шастир. 94.* (Batjargal, Trans.) Соёмбо, Улаанбаатар. (Han shu. History of the Huns. 94.). (In Mongolian)
- Batjargal (2016b). *Хожуу Хан улсын бичиг. 89. Өмнөд Хүннүгийн намтар.* Соёмбо, Улаанбаатар. (Batjargal, Trans.) (Hou Han shu. History of the Southern Huns. 89.). (In Mongolian)

⁴² The division of the Hunnic state administration has modified from the 2 nd century BC. Shi Ji doesn't mention the title shuo pang wang, du lu wang, lu wang, and the an le wang title. The structure remained and both of the Southern Huns, who were the close relatives of the royal clan.



- Batjargal (2017). *Жин улсын бичиг. 97. Бейди Хүннүгийн намтар.* (Batjargal, Trans.) Соёмбо, Улаанбаатар. (Jin shu 97. History of the four foreigners. Beidi Huns). (In Mongolian)
- Boodberg, P. (author) & Cohen A. P. (ed.). (1979). *Selected Works of Peter A. Boodberg.* Berkeley: University of California Press. (In Mongolian)
- Chronica Pictum (1976). *Hungarian Chronicle with pictures.* (Bellus, Trans). Budapest: Európa Könyvkiadó.
- Crespigny, R. (2006). Some Notes on the Western Regions in Later Han. *Journal of Asian History*, 40(1), 1-30.
- Crespigny, R. (2010). *Imperial warlords. A Biography of Cao Cao. (155-220 AD).* Leiden-Boston: Sinica Leidensia.
- Csongor, B. (1993). Kínai források az ázsiai avarokról [Chinese sources on the Avars of Asia]. *Történelem és kultúra [History and culture]*, (9). (In Hungarian)
- Grousset, R. (1970). *The Empire of the Steppes. A History of Central Asia.* Translated from the French by Naomi Walford. Rutgers University Press, New Jersey.
- Hyun, J. K. (2015). *The Huns. Peoples of the Ancient World.* Routledge. London
- Iishjamts, N. (1994). *Nomads in Eastern Central Asia.* In Jano Harmatta (Eds.). *History of Civilization of Central Asia Vol. II.* (pp. 151-171). Paris: Unesco Publishing.
- Lee, Ch.- Linhu Zh. (2011). Xiongnu Population History in Relation to China, Manchuria, and the Western Regions. In Ursula Brosseder, Bryan K. Miller (Eds.), *Xiongnu Archaeology. Xiongnu Archaeology Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia* (pp. 193-201). Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
- Liu, Sh. (2001). Ethnicity and the Suppression of Buddhism in Fifth-Century China: The Background and Significance of the Gaowu Rebellion. *Bulletin of the Institute of history and philology. Academia Sinica*, 72(2), 1-48.
- Luo, G. (1999). *The Three Kingdoms. A Historical Novel.* (Moss R. Trans.) Berkeley: University of California.
- Ma, L. Q. (2004). *Yuan xiong-nu, xiong nu.* Nei Meng guo Da Xue, Huhehaote
- Marks, R. (2011). *China: An Environmental History.* Rowman & Littlefield Publishers.
- Obrusánszky, B. (2016). *Attila, Európa ura.* Barót: Tortoma Kiadó,
- Pritsak, O. (1954). Die 24 Ta-ch'en zur Geschichte des Verwaltungsaufbaus der Hsiung-nu Reiche. In: *Oriens Extremus*, Jg. I, H. 2, 178-202.
- Sneath, D. (2007). *The Headless State. Aristocratic Orders, Kinship, Society and Misrepresentation of Nomadic Inner Asia.* Columbia University Press. New York.
- Turbat, Ts. (2013). *Encyclopaedia Xiongnu.* Institute of Archaeology. Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar
- Twitchett- Loewe (1995). *The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 BC.* 3rd edition. Cambridge University Press. Cambridge.

- Uchralt (2015). *Hunnu helniy sudlal*. Jikom. Ulaanbaatar.
- Xiong, V. C. (2009). *Historical Dictionary of Medieval China*. The Scarecrow Press. Lanham, Maryland, Plymouth
- Watson, B. (1961). *Records of the Grand Historian of China. Translated from the Shih-chi of Ssu-ma-Chien*. New York-London, I-II.

Список литературы

- Batjargal (2016a). *Хан улсын бичиг. Хүннүгийн шастур*. 94. (Batjargal, Trans.) Соёмбо, Улаанбаатар. (Han shu. History of the Huns. 94.). (In Mongolian)
- Batjargal (2016b). *Хожуу Хан улсын бичиг*. 89. *Өмнөд Хүннүгийн намтар*. Соёмбо, Улаанбаатар. (Batjargal, Trans.) (Hou Han shu. History of the Southern Huns. 89.). (In Mongolian)
- Batjargal (2017). *Жин улсын бичиг*. 97. *Бейди Хүннүгийн намтар*. (Batjargal, Trans.) Соёмбо, Улаанбаатар. (Jin shu 97. History of the four foreigners. Beidi Huns). (In Mongolian)
- Boodberg, P. (author) & Cohen A. P. (ed.). (1979). *Selected Works of Peter A. Boodberg*. Berkeley: University of California Press. (In Mongolian)
- Chronica Pictum (1976). *Hungarian Chronicle with pictures*. (Bellus, Trans). Budapest: Európa Könyvkiadó.
- Crespigny, R. (2006). Some Notes on the Western Regions in Later Han. *Journal of Asian History*, 40(1), 1-30.
- Crespigny, R. (2010). *Imperial warlords. A Biography of Cao Cao. (155-220 AD)*. Leiden-Boston: Sinica Leidensia..
- Csongor, B. (1993). Kínai források az ázsiai avarokról [Chinese sources on the Avars of Asia]. *Történelem és kultúra [History and culture]*, (9). (In Hungarian)
- Grousset, R. (1970). *The Empire of the Steppes. A History of Central Asia*. Translated from the French by Naomi Walford. Rutgers University Press, New Jersey.
- Hyun, J. K. (2015). *The Huns. Peoples of the Ancient World*. Routledge. London
- Iishjamts, N. (1994). *Nomads in Eastern Central Asia*. In Jano Harmatta (Eds.). *History of Civilization of Central Asia Vol. II*. (pp. 151-171). Paris: Unesco Publishing.
- Lee, Ch.- Linhu Zh. (2011). Xiongnu Population History in Relation to China, Manchuria, and the Western Regions. In Ursula Brosseder, Bryan K. Miller (Eds.), *Xiongnu Archaeology. Xiongnu Archaeology Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia* (pp. 193-201). Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
- Liu, Sh. (2001). Ethnicity and the Suppression of Buddhism in Fifth-Century China: The Background and Significance of the Gaowu Rebellion. *Bulletin of the Institute of history and philology. Academia Sinica*, 72(2), 1-48.
- Luo, G. (1999). *The Three Kingdoms. A Historical Novel*. (Moss R. Trans.) Berkeley: University of California.



- Ma, L. Q. (2004). *Yuan xiong-nu, xiong nu*. Nei Meng guo Da Xue, Huhehaote
- Marks, R. (2011). *China: An Environmental History*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Obrusánszky, B. (2016). *Attila, Európa ura*. Barót: Tortoma Kiadó,
- Pritsak, O. (1954). Die 24 Ta-ch'en zur Geschichte des Verwaltungsaufbaus der Hsiung-nu Reiche. In: *Oriens Extremus*, Jg. I, H. 2, 178-202.
- Sneath, D. (2007). *The Headless State. Aristocratic Orders, Kinship, Society and Misrepresentation of Nomadic Inner Asia*. Columbia University Press. New York.
- Turbat, Ts. (2013). *Encyclopaedia Xiongnu. Institute of Archaeology*. Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar
- Twitchett- Loewe (1995). *The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 BC*. 3rd edition. Cambridge University Press. Cambridge.
- Uchralt (2015). *Hunnu helniy sudlal*. Jikom. Ulaanbaatar.
- Xiong, V. C. (2009). *Historical Dictionary of Medieval China*. The Scarecrow Press. Lanham, Maryland, Plymouth
- Watson, B. (1961). *Records of the Grand Historian of China. Translated from the Shih-chi of Ssu-ma-Chien*. New York-London, I-II.

BOUNDARIES AND MEN IN POLAND FROM THE TWELFTH TO THE SIXTEENTH CENTURY: THE CASE OF MASOVIA¹

Grzegorz Myśliwski (author) (a), Emilia A. Taysina (translator) (b)

(a) University of Warsaw. Warsaw, Poland. Email: grzegorzms[at]interia.pl

(b) Kazan State Energy University. Kazan, Russia. Email: emily_tajsin[at]inbox.ru

Abstract

The article concerns the emergence and proliferation of the artificial, local boundaries in the region of Masovia, the area situated in the basin of the middle Vistula River. The poor soils of this heavily forested region delayed rural and urban colonisation here, in comparison with other Polish regions. In spite of the fact that the first source reference to such boundaries in Masovia is relatively early (dating from 1185), the recurrent raids by Prussian and Jadźwing tribes as well as by the Lithuanians in the thirteenth and fourteenth centuries stopped the development of colonisation. Consequently, delimitation began at the turn of the thirteenth and fourteenth centuries, intensified from around 1360 onward, and reached a climax in the fifteenth century. This practice was supported by the establishment of numerous villages and towns according to German law, the breakup of family demesnes, and demographic growth. In addition to natural features of the landscape (rivers, creeks, swamps, hills), and to artificial landmarks designated to serve as border points (roads, bridges, churches, chapels, wells, mills, pagan tombs), artificial border markers were in wide use (usually, mounds of sand or stone, single stones, and X-shaped signs). Border markers also played the role of vehicles of collective, local memory, through their specific names, or as incised/engraved signs (Xes, coats of arms). The history of the emergence and proliferation of artificial border markers and delimitation in Mazovia is part of the story of transforming, organizing and acquiring control over space by medieval societies.

Keywords

Middle Ages; East–Central Europe; Masovia; space; natural environment delimitations; border; markers; medieval mentality



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

¹ The editorial team would like to thank the author Grzegorz Myśliwski and our colleague and editorial board member Piotr Górecki for the opportunity to publish the Russian translation of the article by Myśliwski, G. (2002). Boundaries and Men in Poland from the Twelfth to the Sixteenth Century. The Case of Masovia. In D. Abulafia & N. Berend (Eds.). *Medieval Frontiers: Concepts and Practices* (pp. 217-237). Aldershot



ГРАНИЦЫ И ЛЮДИ В ПОЛЬШЕ С XII ПО XVI СТОЛЕТИЯ: ПРИМЕР МАЗОВИИ²

Мысливски Гжегож (автор) (a), Тайсина Эмилия Анваровна (переводчик) (b)

(a) Варшавский университет. Варшава, Польша. Email: grzegorzms[at]interia.pl

(b) ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет". Казань, Россия.
Email: emily_tajsin[at]inbox.ru

Аннотация

В статье рассматривается возникновение и распространение искусственных локальных границ в регионе Мазовецкое воеводство, территория, расположенная в бассейне средней реки Вислы. Бедные почвы этого лесного региона задержали здесь сельскую и городскую колонизацию по сравнению с другими польскими землями. Несмотря на то, что первые упоминания о таких границах в Мазовии относительно ранние (датируются 1185 годом), периодические набеги прусских и ядовинских племен, а также литовцев в XIII и XIV веках остановили развитие колонизации. Соответственно, размежевание началось на рубеже тринадцатого и четырнадцатого веков, усилилось примерно с 1360 года и достигло апогея в XV веке. Эта практика была обусловлена созданием множества деревень и городов в соответствии с немецким законодательством, распадом семейных владений и демографическим ростом. В дополнение к естественным особенностям ландшафта (реки, ручьи, болота, холмы), а также к искусственным ориентирам, предназначенным для использования в качестве пограничных пунктов (дороги, мосты, церкви, часовни, колодцы, мельницы, языческие гробницы), широкое применение получили искусственные пограничные знаки (обычно насыпи из песка или камня, одиночные камни и X-образные знаки). Пограничные знаки также играли роль носителей коллективной, местной памяти, благодаря своим конкретным именам или форме вырезанных / выгравированных знаков (кресты, гербы).

История появления и распространения искусственных пограничных знаков и определения границ в Мазовии является частью истории преобразования, организации и обретения контроля над пространством средневековыми обществами

Ключевые слова

Средние века; Восточная и Центральная Европа; Мазовия; пространство; границы природной среды; граница; маркеры; средневековый менталитет



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

² Редакция ЖФИ выражает благодарность автору Гжегожу Мысливски и нашему коллеге и члену редакционной коллегии Петру Горецкому за возможность опубликовать перевод на русский язык статьи Myśliwski, G. (2002). Boundaries and Men in Poland from the Twelfth to the Sixteenth Century. The Case of Masovia. In D. Abulafia & N. Berend (Eds.). *Medieval Frontiers: Concepts and Practices* (pp. 217-237). Aldershot

Локальные границы, будучи, правда, не столь часто встречающейся темой исторического исследования как демаркация государств и развитие фронтиров, все же представляют собой привлекательный объект для изучения. Это включает в себя их происхождение, эволюцию их форм и маркеров (Manteuffel, 1929, pp. 221-228; Kiersnowski, 1960, pp. 257-289; Podwińska, 1971, pp. 86, 118, 202-222; Karp, 1972), так же как и пунктуальную процедуру, при помощи которой они были проложены, и социально-юридический их контекст (Łaguna, 1875, pp. 22-55, 196-225; Myśliwski, 1999b, pp. 149-158). Наряду с антропологами историки также обратили внимание на многочисленные культурные последствия демаркации границ (Czarnowski, 1925, pp. 339-358; Banaszkiewicz, 1979, pp. 987-999; Geremek, 1997, pp. 637-642; Banaszkiewicz, 1998, pp. 349-453; Myśliwski, 1999a, pp. 27-36). Все эти подходы используются в нашем исследовании.

Под локальной границей мы подразумеваем местность, которая может иметь разные формы и размеры, разделяющую по крайней мере две различные территории, меньшие, чем государства. По разным критериям можно выделить несколько типов границ в регионе и в рамках исследуемого периода. По размеру выделенной территории мы можем различать границы отдельных домохозяйств (*sors, zreb*) (Lalik, 1970, pp. 9-10); деревень; городов; мест, населенных районными сообществами, называемыми *opole*³; административных единиц; и целых государств. Применение имущественного критерия позволяет нам различать частные, церковные и общественные границы. Однако для того, чтобы понять, как средневековый и ранний нововременной человек приобрел контроль над природой, более важны две другие отличительные черты: ход границ частично определялся природной средой, а точность границ частично зависела от того, насколько широким был природно-территориальный комплекс. Что касается первого признака, часто проводится различие между естественными и искусственными границами. Мы можем заменить эти классические категории, применяя полезную типологию Рышарда Кирсновски, который различает «элементы, определяющие» ход пограничной линии, и «элементы, определяемые ею», с учетом вмешательства человека (Kiersnowski, 1960, p. 272). Такая типология лучше подчеркивает человеческую активность в расстановке границ, чем классическая, которая несколько излишне формалистична⁴. Необходимо различить два

³ Для обзора дискуссий до 1991 г. см.: (Matuszewski, 1991). Также (Modzelewski, 1988, pp. 43-76; Kossmann, 1993; Górecki, 1999).

⁴ Например, если бы деревья были намеренно посажены на границе в качестве ее маркеров, они были бы классифицированы как естественные границы, даже если их расположение было установлено исключительно человеком.



основных типа границ (Manteuffel, 1929, p. 223). Первая – это зона, диапазон которой составляет от нескольких до нескольких десятков метров в зависимости от местных условий; вторая, более точная, – это линейная граница. Обе классификации вместе представляются наилучшей отправной точкой для истории локальных границ Мазовии между двенадцатым и шестнадцатым веками.

Исторически, этот регион является польской провинцией, расположенной в бассейне среднего течения Вислы. В средневековый период Мазовия на севере граничила с землями, населенными язычниками (прускими и ядцвинговыми племенами, покоренными Тевтонским орденом в середине XIII века); на северо-западе и востоке она граничила с территориями Литовского и Русского княжеств; на юге с Малой Польшей (Малопольское воеводство), и, наконец, на юго-западе и западе с Ленчицей [Łęczyca], Великой Польшей (Великопольское воеводство) и провинцией Куявия (Gieysztor & Samsonowicz, 1994). Мазовия представляет собой особенно интересную область для исследования локальных границ из-за двух характеристик ее истории по сравнению с другими польскими регионами: это длительный период политической независимости (1138-1526), а также социально-экономический застой после середины тринадцатого века. Более того, мазовецкие источники не были хорошо изучены учеными, исследующими историю местных границ.

Первый вопрос – какую форму имели наиболее старые местные границы. Очевидно, что сама природа всегда ограничивала ареалы человеческой деятельности болотами, реками с заболоченными берегами, первобытными лесами, холмами, горами и пустошами (Natanson-Leski, 1953, p. 43). Кроме того, как это часто наблюдалось в предыдущих исследованиях происхождения границ, они возникали в основном в результате перемещения поселений; овладев новыми территориями, различные группы поселенцев вступали в конфликт друг с другом, борясь за землю. Таким образом, проведение границ, как кажется, было единственным мирным решением их споров (Manteuffel, 1929, p. 222). Однако это объяснение имеет тенденцию характеризовать лишь самые старые пограничные линии, в то время как границы продолжали возникать на протяжении всего средневековья, часто в районах, которые были заселены в течение длительного времени. Поэтому важно подчеркнуть другие факторы, стимулирующие возникновение искусственных разграничений: демографический рост, развитие способов возделывания земли, появление церковных и частных владений (Podwińska, 1971, p. 203) и, как в позднесредневековой Мазовии, рост

торговли землей и частый распад семейных поместий (Russocki, 1961, р. 38). Возникновение церковных и частных владений в Польше между XI и XIII веками способствовало созданию многих местных границ, хотя некоторые из них должны были быть обозначены особенно рано. Чтобы определить древнейшие мазовецкие границы, мы должны принять во внимание две хартии одиннадцатого и двенадцатого веков: это акт о бенедиктинском аббатстве в Могильно (с. 1065 - сохранившийся в интерполированной версии второй половины двенадцатого века) (Korwin-Kochanowski, 1919, п. 22,13-15), а также более поздняя грамота о земельных наделах для аббатства регулярных каноников в Червинске (1161 г.) (п. 87, 81-82). В обоих документах зарегистрированы такие единицы поселений, как отдельные домохозяйства и деревни с прилегающими землями (*cum appendiciis*), а также группа укрепленных городов, составляющих сеть герцогского управления.

Начнем с границ замков, окружавших города и перечисленных в хартиях. Появление границ административных единиц было вызвано в основном двумя факторами. Прежде всего, эти города выполняют многочисленные социальные функции. Они были юридическими, финансовыми, военными и религиозными центрами, которые действовали как социальные магниты (Modzelewski, 1977, pp. 75-78). Местные крестьяне часто приходили туда, по разным причинам; они также были обязаны ремонтировать укрепления каждую зиму (Modzelewski, 1975, р. 196). Следовательно, благодаря отношениям с городами многие люди стали связаны не только со своими соседними окрестностями, но и с более широким сообществом, целым районом. Более того, во время герцогских объездов они еще должны были обеспечивать *dux ambulans* и его свиту едой, жильем, а иногда и частными лошадьми, и личными проводниками (Gasiorowski, 1977, pp. 139-162). Как свидетельствует хроника XII века Галла Анонима, когда герцог переходил из одного замка в другой, он полагался на услуги крестьян из соответствующих районов: «когда он переходил из одного города в другой, он распускал крестьян [из этого района] на границе [*in confinio*] и нанимал других»⁵. Я разделяю точку зрения Кароля Модзелевского, интерпретирующего *confinium* как границу кастелланий (Modzelewski, 1975, р. 92). Возникает вопрос, какова была форма такой границы. Мне кажется, что термины с приставкой *con-* совпадают не с какой-

⁵ 'Et quotiens de civitate stationem in aliam transferebat, aliis in confinio dismissis, alios ... villicos commutabat'. (Maleczyński, 1952, p. 32).



либо точной демаркационной линией, а с более широкой границей-фронтиром между кастелланиями⁶. Следовательно, это будет зона.

На локальном микроуровне границы районов должны были на практике формироваться путем распределения населения, находившегося под юрисдикцией соответствующего кастеляна, а также микрозонами экономического влияния, также ограниченными природными факторами.

Общественная активность крестьян на микроуровне также способствовала развитию границ. Можно рассматривать проблему границ *zreb* и деревни совместно, потому что польские деревни того времени состояли из нескольких разрозненных, отдельных домохозяйств (Podwińska, 1971, p. 143). Вышеупомянутый устав регулярных кано-ников в Червинске не содержит никаких ссылок на какие-либо линей-ные искусственные границы, ни вокруг одного *zreb* или деревни, ни вокруг всего церковного имения. Однако в нем упоминались *appendicia*, и это, кажется, дает ответ на вопрос, что составляло гра-ницы вокруг деревень и поселков. *Appendicia* означала территории, простирающиеся вокруг местных центров. Эти угодья также служили пограничными зонами, отделяющими деревни друг от друга. Прости-рание таких зон определялось не размещением искусственных указа-телей, а экономической деятельностью местных жителей. Границы каждой зоны заключались в пределы крестьянской пашни. В малона-селенных регионах, таких как большая часть Мазовии, размер этих смежных областей зависел только от физических возможностей одной крестьянской семьи возделывать землю. Однако податель благ подра-зумевал под *appendicia* не только пахотные поля, но и общие луга и пастбища, используемые всеми соседями в пределах церковного или частного владения. Более того, нужно также учитывать точку зрения отдельно взятой крестьянской семьи, которая была подчинена цер-ковному господству. Помимо обработки пахотных земель, деятель-ность крестьян распространялась и на соседние герцогские леса, где фермеры пасли свой скот и держали пчел, и откуда в их дома посту-пали дрова и строевой лес. Таким образом, используемые окраины герцогских лесов, похоже, в какой-то степени воспринимались сосед-

⁶ Группа терминов, таких как *confinales*, *confinalis*, *confineus*, *confinia*, *confinis*, *con Finitimum*, *con-finitimus*, *confinium*, *conterminum*, *conterminalis*, чаще всего означала что-то вроде «соседство», «соседство», «граница», «нечто близкое», «что-то близкое к [границе]», но не очень точная грани-ца, идея которой выражается скорее с помощью таких терминов, как *finis*, *finalis*, *terminus*, *termi-nalis*. (Sondel, 1997, pp. 199, 216, 384, 937-938). Характеристику природных и социально-экономических факторов, которые определяли организацию и восприятие локального простран-ства, подтверждая приведенные филологические рассуждения, см. ниже.

ними обитателями одиночных подворий во многом как своя территория. Они будут неофициальным, вторым кругом зарегистрированных угодий. Однако в случае двух примыкающих друг к другу пахотных полей они были разграничены необработанным гребнем земли (Modzelewski, 1987, pp. 30-31). Это один из двух древнейших типов искусственных линейных границ в пределах польских территорий. Другой – это разграничение двух садов, граничащих друг с другом, деревянными заборами (Podwińska, 1971, p. 89).

На основании этих соображений мы можем заключить, что преобладающей формой локальной границы в Мазовии в XI и XII веках была зона, аморфное пространство различной ширины. Его масштабы в основном зависели от экономической активности местного крестьянства, подчиненного местным центрам. По этой причине зависимость более отдаленных домохозяйств и деревень от кастелланий также играла роль внешних границ. Единственным исключением из этого правила были поселения в густонаселенных районах Мазовии, где использовались нетронутые полосы земли и заборы. Восприятие пространства определялось в то время первозданными лесами и разбросанностью редкого населения. Неудивительно, что пространство воспринималось как густо засаженная деревьями территория, однородность которой нарушалась только реками и рассредоточенными скоплениями населения. Относительно долгосрочная стабильность природных особенностей ландшафта означала, что их часто выбирали для обозначения границы. Это также поддерживалось традиционными способами понимания и создания политического пространства. Самым важным элементом этих традиций была центральная точка, либо освященная политической традицией, либо созданная политическим победителем, который вонзал шест в выбранную землю в знак своего господства (Banaszkiewicz, 1986, pp. 458,464). Когда территория вокруг такого центра не была ограничена линейными элементами ландшафта (такими как реки), ее границы были зональными и непосредственно примыкали к другой зоне, принадлежащей другому объекту, вокруг другого политического центра.

Несмотря на такой давний традиционный подход к пространству, самые старые, хотя и редкие, упоминания искусственно проведенных локальных границ в Польше появляются в письменных документах еще в XII веке (из Силезии, Малой Польши) (Tymieniecki, 1912, p. 83; Podwińska, 1971, pp. 205-212). Более того, цитата о деревне Чарнотыл в хартии бенедиктинцев в Могильно (Korwin-Kochanowski, 1919, n. 22, 14), по-видимому, свидетельствует о существовании единственной искусственной границы в Великой Польше к концу одиннадцатого ве-



ка (*Charnothyl per medium*)⁷. Вопреки утверждениям, ранее высказанным Гансом Юргеном Карпом и Зофией Подвинской (Karp, 1972, p. 125; Podwińska, 1971, p. 217), первые линейные искусственные границы появились на Мазовии не в тринадцатом веке, а двумя десятилетиями раньше. В 1185 году мазовецкий дворянин Жиро подтвердил владения, подаренные его предками церкви Пресвятой Богородицы в пригороде столицы Плоцка: «вот названия деревень, которые были переданы предшественниками этой церкви: Озсек, с озером и всеми окрестностями, рынок в Рохне с таверной, Опинегота с ее границами [*cum terminis suis*] ... Остраванц с его церковью, Сироши, Мурине»⁸. Здесь мы имеем дело с типичным списком деревень, либо с включением некоторых учреждений, отличавших данное поселение (церковь, трактир), либо без каких-либо дополнительных данных. Опиногора упоминается с собственными *terminis*. Должно быть, это было редкое и важное явление, признанное отличительной чертой этого села. Зональные границы были обычным явлением в Мазовии и всегда обозначались как *pertinencia*, *attinencia*, *appendicia*, следовательно, *termini* должны были обозначать нечто иное. Несомненно, *termini* означали искусственные линейные участки границы. Множественное число термина может отражать серию искусственных маркеров, составляющих линию границы. Однако слово *termini* могло относиться к единичным пограничным участкам, которые довольно точно отделяли Опиногору от имений других помещиков. Учитывая обстоятельства установления старейшей из известных линейных рукотворных границ Мазовии, уместно обратить внимание на расположение Опиногоры. Это было одно из владений монахинь церкви Пресвятой Богородицы, но удаленное от всех других поместий церкви, примерно в 80 километрах по прямой от ближайшего владения монахинь. Такое большое расстояние поставило под угрозу целостность поместья Опиногора; оно было уязвимо относительно соседних помещиков и их подданных. Маркировка границ этой удаленной деревни должна была отделить и защитить ее территорию. Невозможно определить точную дату разграничения, потому что мы не знаем время дарения деревни. Однако мы знаем, что церковь Пресвятой Богородицы была основана около 1130 года, а последний из жертвователей, Януш, умер до 1150 года (Pacuski, 1982, p. 274). Таким образом, период с 1130 по 1150 год мо-

⁷ Похоже, это было одним из первых подарков бенедиктинцам Могильно; (Kürbis, 1968, p. 42)

⁸ Hec itaque sunt nomina villarum, quibus a prioribus prefata ecclesia dotata est: Ozsec cum lacu et omnibus appendiciis, forum de Rochne cum tabema, Opinegote cum terminis suis ... Ostrawantz cum ecclesia, Siroczi, Murine.' (Korwin-Kochanowski, 1919, n. 117,112). См. также новую редакцию этого устава в (Szacherska, 1975, n. 3, 6-7)

жет быть признан временем первого зарегистрированного установления линейной искусственной границы на Мазовии.

Другие примеры демаркации в регионе датируются уже только первой половиной тринадцатого века. Линейные границы были выделены по определенным причинам и при различных обстоятельствах. Они возникли в результате отчуждения земли; обозначены были границы для разграничения отчуждаемой территории, так, чтобы стоимость земли была пропорциональна денежной сумме (1227) (Korwin-Kochanowski, 1919, n. 244, 258). Процесс роста оседлости также потребовал установления границ, когда возникала необходимость отделить участок городской территории для поселения иммигрантов, предоставив им статус рыцарей (Piock 1237) (Szacherska, 1975, n. 9, 15-17). Парадоксально, но разрушительные набеги язычников на Мазовию, которые были одной из причин длительной социально-экономической отсталости региона с середины тринадцатого века и далее (Samsonowicz, 1975, p. 118; Suchodolska, 1994, pp. 187-190), могли косвенно способствовать процессу размежевания; разрушение и сокращение населения многих деревень и одиночных домохозяйств открыло для землевладельцев возможность освоить безлюдную местность. Такая ситуация сложилась в Силезии после нашествия монголов в 1241 году. Автор «*Книги Генрикова*» отмечал, что «в те времена ... каждый из рыцарей присваивал то, что и сколько хотел»⁹. Так, цистерцианские монахи приложили усилия, чтобы вернуть свои прежние владения и поддержать свои права собственности в областях, которые они вернули, установив искусственные границы. Несомненно, аналогичные события должны были иметь место и в частично опустевшей Мазовии в тринадцатом веке. Однако периодические набеги язычников приносили и хаос. Следовательно, границы, обозначенные при таких неблагоприятных обстоятельствах, не могли долго сохраняться в неизменном виде; последующее нападение язычников могло вызвать запустение всей очерченной области, вместе с пограничными метами.

Надо признать, что в мазовецких документах тринадцатого века можно найти немного упоминаний о границах, созданных человеком, о точках пересечения линейных границ или их перемещениях (Korwin-Kochanowski, 1919, n. 278 (1230), 302; n. 301 (ca.1230), 345; Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989, n. 31 (1257), 31; n. 34 (1256/1257), 37). Их небольшое число контрастирует с большим количеством грамот мазовецких канцелярий. Это особенно примечательно, потому что большинство документов касалось отчуждения земли в форме даре-

⁹ 'illo in tempore ... unusquisque militum rapuit, quod voluit et quantum voluit' (Grodecki, 1949, p. 297). Об этой записи см. (Górecki, 1993, pp. 18-19).



ния, продажи или обмена. Многие документы, касающиеся передачи целых сел, вместо описания границ включали такую терминологию как *cum pertinenciis*, *cum appendiciis* или *cum attinenciis*. Хотя споры из-за земли, даже сопровождавшиеся кровопролитием, происходили еще в двенадцатом веке, стороны в судебном процессе сосредоточивали свое внимание на целых деревнях, а не на их границах¹⁰. Первое достоверное свидетельство пограничного спора относится только к 1281 году. Это произошло на границе между Мазовией и провинцией Ленчица [Łęczyca] из-за демаркации, предписанной епископом Влоцлавека без консультации со своими соседями, двумя мазовецкими частными землевладельцами (Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989, n. 64, 62; Modzelewski, 1987, p. 169).

Хотя, конечно, не все искусственно проведенные границы были зарегистрированы в течение тринадцатого века, в Мазовии было меньше линейных границ, чем в других регионах Польши. Несмотря на это, в Мазовии произошли некоторые изменения, аналогичные изменениям в других регионах Польши, где мы можем наблюдать такие явления, как создание первой искусственной границы и основание поселений в соответствии с новым правовым кодексом; однако масштабы мазовецких случаев оставались намного скромнее, чем их аналоги в Силезии, Малой Польше и Великой Польше. Не так много поселенцев было привлечено в интересующий нас регион, отчасти из-за вышеупомянутого социально-экономического и политического кризиса, а отчасти из-за неплодородной почвы. Поэтому долгое время Мазовия была густо лесистой и малонаселенной, особенно в ее восточной части. Из-за этого демографического фактора большинству землевладельцев не приходилось устанавливать границы вокруг своих владений.

Самые старые местные границы в Мазовии либо были условными линиями, проходящими между отличительными точками, либо воплощались в различных особенностях местности. К таковым относятся элементы природной среды, такие как реки и ручьи, озера, болота, холмы, отдельные деревья или огромные камни, которые составляли первую группу границ. Несмотря на растущее значение искусственных пограничных маркеров в последующие века, природные особенности местности регулярно использовались в качестве пограничных пунктов по нескольким причинам. Большинство из них определяло и

¹⁰ Например, спор о деревне Шарско между кастеляном Визны Болестой и епископом Плоцким Вернером. Епископ был убит братом Болесты по просьбе Болесты. Он был приговорен к смертной казни и казнен (Trawkowski, 1969).

обуславливало пространство человеческой деятельности и поэтому признавалось границами. Отсюда, все жители окрестностей должны были знать свое местонахождение и, следовательно, то, как эти естественные пределы разграничивали данные усадьбы. Более того, стоит подчеркнуть долговечность таких ограждений в отличие от искусственных пограничных знаков. В политически стабильные периоды изменить их место было практически невозможно, за исключением двух исключений из этого правила (вырубка бордюрного дерева или перенаправление пограничного потока в новое русло). Более того, некоторые части культурного ландшафта использовались для удобства, а также потому, что они играли важную роль в местной социально-экономической и культурной жизни. Дороги, мосты, валы, мельницы, колодцы, церкви, часовни и языческие гробницы были одними из самых важных ориентиров на любой местной территории. Что касается последних трех типов пограничных маркеров, их значение подтверждалось верованиями того времени, которые приписывали таким местам сакральную функцию, христианскую или языческую. Считалось, что они охраняют это место и, следовательно, обеспечивают неприкосновенность всего пограничного участка. В своем недавнем исследовании Яцек Банашкевич приводит дополнительные доказательства того, как мифические верования охраняли границу: это были места под названием Змигрод или Змиево, отмеченные в первоисточниках во всех польских регионах между двенадцатым и пятнадцатым веками (Banaszkiewicz, 1998, pp. 439-453). Все эти топонимы происходят от существительного *zmy*, обозначающего мифического славянского дракона без крыльев, ползучее чудовище (Tomicka & Tomicki, 1975, pp. 38, 43-44, 48). В буквальном переводе они означают замок (или место пребывания) дракона. Две деревни под названием *Змиево* существовали на мазовецкой границе с Пруссией самое позднее в четырнадцатом веке; и, по всей видимости, они были установлены намного раньше (Banaszkiewicz, 1998, pp. 451-452). Обращаясь под такими названиями к деревням в северной пограничной области, средневековые мазовшане полагали, что они волшебным образом отпугивают своих врагов и эффективно защищают границы своего государства и внутренние районы своей провинции. Убеждение в тесной связи между границами и различными сверхъестественными силами сохранялось в польских сельских общинах долгое время (Stomma, 1986, pp. 90-95). Как упоминалось выше, искусственные маркеры, местоположение которых выбрал сам человек, в тринадцатом веке в изучаемом регионе встречались редко. Подводя итог, можно сказать, что форма линейных границ в Мазовии существенно не отличалась от их анало-



гов в других регионах Польши, за исключением искусственных маркеров, которые редко использовались в Мазовии, в отличие от Силезии или Малой Польши.

Однако использование таких искусственно созданных границ стало необходимым в больших масштабах в первой половине четырнадцатого века по трем основным причинам: конец экономического кризиса, начало политической стабилизации в этой части Европы и колонизация под властью юрисдикции Германии. Экономическое возрождение пришло извне. В первой четверти четырнадцатого века Мазовецкое воеводство подпало экономическому влиянию Ганзейского союза (Samsonowicz, 1975, p. 118). Чуть позже колонизация соседней Тевтонской Пруссии (1310-70) повлияла на одновременные процессы в Мазовии (Biskup & Labuda, 1988, pp. 288-292). Дружественные двусторонние связи между этими соседями на рубеже тринадцатого и четырнадцатого веков позволили им улучшить отношения между епископством Плоцк и его зарубежными соседями. Мы можем наблюдать серию крупномасштабных разграничений между основной мазовецкой епархией и ее соседями: епископством Хелмно (1291 г. (Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989, n. 85, 83-84), хотя полное разграничение не произошло до 1378 г.) (Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, 1863, n. 97, 89-91), самим Орденштатом (1317 г.) (Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989, n. 159, 155-157), а также кафедрой Влоцлавек, которая находится в Королевстве Польском (1321 г.) (n. 144, 145). Еще одним важным фактором стало заключение Калишского мира между Польским государством и Тевтонским орденом в 1343 году. Следовательно, представители ордена и двух мазовецких княжеств в один год подписали договор о границе, положения которого начали действовать с 1344 года (Kowalczyk, 1992, pp. 33-34). Однако политика замирения по отношению к Великому княжеству Литовскому, до того врагу, во второй четверти четырнадцатого века, оказалась для Мазовии более важной. В 1358 году с помощью, среди прочего, «старейшин и престарелых, хорошо информированных и квалифицированных, поскольку они были осторожны и разумны», граница была окончательно обозначена¹¹.

Вышеупомянутые изменения способствовали колонизации в соответствии с законодательством Германии. Вначале это было приурочено к имениям архиепископа Гнезненского (Великопольского) в западной Мазовии, где Янислав и его преемник Ярослав Богория из

¹¹ 'assumptis ... senibus et antiquis personis scientificis et idoneis propter cautelam et maiorem tutelam ...' (Sawicki, 1972, n. 16, 19-20); См. также (Rhode, 1955, pp. 211-219).

Скотников к 1374 году основали 56 новых деревень и городов под юрисдикцией немецких законов (Wareżak, 1952, pp. 162, 171-173); некоторые из них были помещены *in cruda radice*. Последняя четверть века была тем временем, когда мазовецкий герцог Януш I Старший (1379-1429) и его брат герцог Семовит IV (1379-1425/26) предприняли серьезные и масштабные преобразования изучаемого региона путем создания большого количества городов и деревень в соответствии с немецким законодательством. Процесс, поощряемый мазовецкими епископами, а также местной знатью, распространился на весь регион. Пространственная планировка соответствующей деревни или города была организована самыми разными способами. Если данная деревня или город существовали долгое время, его старые зональные границы можно было заменить серией искусственных пограничных маркеров (Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989. n. 210 (1334), 210). В некоторых случаях окрестные села были интегрированы в новые поселения с частично или полностью новыми границами. Однако многие города и села возникли впервые. Организация их пространства должна была предшествовать захвату выбранной территории, а также точному земельному учету, и завершалась полаганием границ. Тесная связь между двумя последними видами деятельности была открыто выражена в документе о местонахождении деревни Лупиа в 1340 году: «Мы отмечаем границы, насколько это позволяют примененные *mansi*»¹². В обиход вошла новая абстрактная мера, фламандский мансус (на польском языке: *wloka*, около 17 га)¹³. Точное землеустройство касалось не только внешних границ, но и внутреннего пространства данного села, где вся территория была поделена между поселенцами. Их земельные участки могли быть разделены линейными границами, даже если в документах об их местонахождении нет такой прямой информации¹⁴.

Однако, несмотря на амбициозные планы архиепископов и герцогов, происходили и другие независимые процессы, за которыми следовали многочисленные размежевания. Прежде всего, в четырнадцатом веке все шире использовались более старые формы отчуждения земли, такие как дотация, продажа и передача земли. Более того, новые процессы повлияли на пространственную планировку мазовецких городов и деревень. Здесь можно упомянуть распад семейных владений и растущую практику закладывания земли в обмен на деньги. Хо-

¹² ‘Quam villam limitamus, quantum se mansi extendere poterunt in longitudine et latitudine in mensuram.’ (Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989, n. 290 (1340), 294).

¹³ О фламандских *mansi* и других абстрактных мерах, применявшихся в ходе колонизации в славянских странах, см. (Bartlett, 1993, pp. 139-144).

¹⁴ Однако есть много более поздних ссылок, подтверждающих вышеуказанное мнение. См., например, очень точное описание деревни Попьен, (Ulanowski, 1902, n. 924 (1477), 450-451).



тя первые упоминания об этих практиках датируются 1377 годом, в первом мазовецком письменном статуте они оба были обычным явлением уже в течение долгого времени (Sawicki, 1972, n. 22, 30 (§§ 5, 6)). Распад семейных владений происходил главным образом из-за растущего числа выживших потомков в дворянских семьях и из-за растущего чувства индивидуализма среди их членов. Они делили свои семейные владения на отдельные домохозяйства, владельцы которых надеялись вести самостоятельную хозяйственную деятельность. Чтобы такое разделение было принято и сделалось относительно прочным, необходимо было установить вокруг него искусственные границы. Разграничение также необходимо было провести, если земля была заложена. Размер участка определялся размером средств, взятых в долг. Любой временной передаче соответствующей территории должна была предшествовать разметка предварительной границы, которая должна была существовать до погашения ссуды и возврата земельного участка его владельцу.

В отличие от уставов двенадцатого и тринадцатого веков, некоторые акты, включая описание отчуждения земли, в четырнадцатом веке содержали такие положения, как: «в том виде, в каком [деревня] существует и располагается в своих границах»¹⁵; «как отмеченные границы обозначают эту деревню»¹⁶; «поскольку [деревня] теперь со всех сторон выделяется в своих границах и ориентирах»¹⁷; «в зависимости от того, как она выделена границами, ориентирами и прилегающими землями»¹⁸. Это не означает, что искусственные границы уже были обычным элементом повседневной жизни во всем исследуемом регионе в четырнадцатом веке. Прежде всего, это преобразование охватило в основном западную и центральную Мазовию. Кроме того, земельные тяжбы часто не сопровождались установлением искусственных границ. «Если два человека начнут спорить о пахотных полях, неводеланной земле или другой местности, человек, который заявляет, что он их арендатор, должен доказать это свидетельскими показаниями местного сообщества, называемого *ossada*, или старейшин,

¹⁵ 'prout consistit et est in suis terminis situata', (Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989, n. 144(1316), 141).

¹⁶ 'prout ipsam villam ... termini sui distincti praefigurant'(Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989, n. 172(1324), 171).

¹⁷ 'prout nunc inter suis terminis et limitibus circumferencialiter est distincta', (Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989, n. 173 (1325), 172).

¹⁸ 'quod est in suis metis, limitibus et circumferentiis distincta', (Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989, n. 211 (1333/ 1334), 211).

то есть *starczy*»¹⁹. Только в одной рукописи есть ссылка на искусственные границы: «любой, кто не начал возражать против линейных границ (*pro graniciis*) и молчал три года, должен молчать и в дальнейшем»²⁰. Как было показано, процитированный документ относится к западной и центральной частям Мазовии, которые были более развитыми в социально-экономическом отношении (Russocki, 1956, p. 233). Это очень важно, поскольку другие рукописи статута экономически отсталых регионов Мазовии не содержат ссылок на границы; радикальное преобразование малонаселенной и густо покрытой лесами восточной части Мазовии началось только при процветающем правлении герцога центральной и восточной Мазовии Януша I Старшего (1379–1429). Таким образом, те же явления, которые ранее возникли в более развитых частях Мазовии, распространились в тех областях в большей степени: колонизация по немецким законам, увеличение оборота земель (несмотря на запрет на предоставление герцогских земель, наложенный по просьбе дворянства в 1482 г.) (Dunin, 1880, p. 53), а также распад помещичьей собственности в дворянской среде. Те же процессы, стимулированные одновременно мазовецким князем Семовитом IV и епископами, а также местной знатью, охватили весь регион. Они привели к изменениям, которые продолжались до начала шестнадцатого века. Мазовия наконец догнала другие польские регионы в социально-экономическом развитии. Это справедливо и в отношении степени урбанизации исследуемого региона.

Теперь мы можем рассмотреть вопрос о границах в основных центрах Мазовии. Обустройство и восприятие пространства средневековых городов – сложная проблема (Samsonowicz, 1977, pp. 163-172), поэтому я собираюсь указать лишь на некоторые ее аспекты. Одной из отличительных черт городского пространства были его внешние границы, состоящие из стен, более постоянных по своему характеру, чем границы в деревне (p. 165). Тем не менее, в Мазовии даже столица Плоцк была окружена укреплениями из дерева и земли в тринадцатом веке (Szacherska, 1975, n. 12(1247), 19), а позже только три города были обнесены стеной: Плоцк и Варшава в четырнадцатом веке (Wolff, 1962, p. 37) и епископский город Пултуск, вероятно, в пятнадцатом (p. 37) или, по мнению других исследователей, в начале шестнадцатого века (Galicka & Sygietyńska, 2006, pp. 413-414). Территорию малых городов и поселков отделяли также насыпи, рвы и частоколы (p. 410). В

¹⁹ ‘Item cum duo homines inter se moverint querimonias pro agris, campis et usibus ceteris, extunc ille, qui asserit suos usus illos esse, debet approbare cum vicinia, que dicitur *ossada*, vel cum senioribus alias *starczy*.’ (Sawicki, 1972, n. 22 (1377), 33 (§ 16)).

²⁰ ‘Quis etiam pro graniciis ad tres annos non impediret, et tacere voluerit, in perpetuum tacebit.’ (Sawicki, 1972, n. 22 (1377), 33, (§ 16), footnote 1).



результате между городским пространством и его сельской местностью были установлены непреложные границы. По этой причине планировка городских стен и других границ повлияла на сознание горожан и сформировала их представление о пространстве, которое было структурировано дихотомией «внутри и за пределами городских стен» (*intra-extra muros*) (Wierzbowski, 1913, п. 6 (1388), 7; п. 8 (1413), 103; п. 19 (1479), 23)²¹.

Включение Мазовии в состав Польского королевства (1526 г.) способствовало усилению разметки искусственных границ в местной среде. Герцогские владения были приняты польским королем Сигизмундом Старым на законных основаниях. Однако его приграничные территории в переходный период были присвоены соседскими помещиками. Еще в декабре 1526 года польский монарх направил письмо по поводу этой проблемы своему должностному лицу в округ Ломжа в северо-западной части Мазовии, в котором написал: «Мы были проинформированы о многих преступлениях в наших владениях и нарушениях ее границ соседними помещиками»²². Подобные ситуации, похоже, имели место и в других частях королевского владения в исследуемом регионе. Отсюда возникла необходимость вернуть утраченные земли и обозначить новые границы между ними и поместьями алчной знати. Это совпало с попытками вернуть некоторые части своего владения и навести в нем порядок, предпринятыми тем же правителем в своем королевстве (Sucheni-Grabowska, 1967). С другой стороны, сама знать уже потребовала выделения королевских владений из частных поместий в 1422 году во время кампании против Тевтонского ордена (Ohryzko, 1859, р. 37) и повторила свои требования в 1454 и 1496 годах (Grodziski, Dwomicka & Uruszczak, 1996, р. 63 (§ 9)). В ответ на эти запросы во время заседания польского парламента в Петркуве (1496 г.) (pp. 80-81 (§80)) были учреждены специальные комиссарские суды. Этот вопрос неоднократно поднимался в шестнадцатом веке (1511, 1523, 1538 гг) (247 (§ 22), 391 (§ 6); Ohryzko, 1859, р. 260). Дворяне королевства оправдывали свои требования, утверждая, что необходимо защитить владения от королевских арендаторов, которые присвоили приграничные территории поместий (Grodziski, Dwomicka & Uruszczak, 1996, р. 308 (§ 7)). Точно так же мазовецкая знать выдвинула требование провести те же операции в 1527 году: король был обязан направлять комиссаров в Мазовию каж-

²¹ По поводу Плоцка см., например, (Szacherska, 1975, п. 39 (1363), 64; п. 17 (1426), 167; Poppe, 1995, п. 290 (1510), 149).

²² ‘edocti sumus multas iniurias in bonis nostris et eorum limitibus nobis inferri per nobiles eisdem bonis vicinos’, (Sawicki, 1974, п. 266, 11).

дый раз, когда об этом просил местный землевладелец (Sawicki, 1974, n. 272, 16). Несомненно, дворяне рассчитывали на юридическое подтверждение своей законной собственности на земли, находившиеся в незаконном владении. Однако значительные разграничения оказались выгодны польскому королю. Им предшествовало точное обследование рассматриваемого поля и сравнение его общей площади с количеством *mansi*, пожалованных герцогом и упомянутых в договоре дарения. Иногда частные владения были вдвое больше, чем положено²³. Следовательно, часть незаконно присоединенных территорий (*excrementiae, residuitates*) могла быть выкуплена их пользователями, но большая часть обследованных территорий была присоединена к королевскому владению и отграничена. Представляется, что линейные искусственные границы во многих местах были проведены впервые. Примечательно, что проблема присвоения полей затронула не только королевские владения в начале второй четверти шестнадцатого века, но возникла и в других поместьях. Можно обратиться к примерам такого явления уже со второй и третьей четверти пятнадцатого века на северо-западе Мазовии (Wiśniewski, 1973, pp. 132-133, 149-150), в имени архиепископа Гнезненского в Ловицкой кастеллании в начале шестнадцатого века (Wajs, 1986, pp. 64-65), а также на мызе каноников Соборной церкви Святого Иоанна в Варшаве, несколько позже (Ulanowski, 1926, n. 61 (1528), 63). Таким образом, проблема аннексированных земель, похоже, была обычным явлением в позднесредневековой Мазовии.

Королевские комиссары осматривали не только те дворянские поместья, которые граничили с владениями Сигизмунда Старого, но и другие. Это вызвало протесты знати, которая потребовала от короля изменить свои планы. Во время сессии польского парламента в Петркуве в 1538 году было проведено голосование, по которому поместья, границы которых были описаны в королевских грамотах или, по крайней мере, ранее одобрены королевскими комиссарами, были освобождены от обязанности пересмотра и демаркации границ (Sawicki, 1974, n. 354 (1538), 122). Это относилось и к поместьям, примыкающим к королевскому владению. Королю удалось только добиться обязательной проверки, подтверждающей размеры и границы всех прочих имений. Таким образом, можно сделать вывод, что за окончательным включением Мазовии в состав Польского королевства последовало крупномасштабное местное размежевание. Распростра-

²³ Например, деревня Гломбоч; см. в Warsaw, the Archiwum Głowne Akt Dawnych, zbior Ignacy Kapicy-Milewskiego (Central Archive of the Old Records in Warsaw; the collection by I. Kapica-Milewski) (hereafter Kap.), records of Lomza district, box n. № 57, 372-373 (1535).



нение этого процесса указывает не только на конкуренцию между монархом, дворянством и духовенством. Эти разграничения отражали общую тенденцию в политике ранних современных правителей Европы организовывать пространство в своих королевствах. Такие начинания, как восстановление королевских владений (Sucheni-Grabowska, 1967, pp/ 77-81), содействие реорганизации пространственного порядка в деревне (Ochmański, 1960, pp. 329-342), а также попытки унификации земельных мер (Kula, 1970, pp. 209-210) подтверждают эту тенденцию.

Распространение делимитации в позднем средневековье и раннем современном Мазовии имело множество последствий. Во-первых, новую роль стали играть искусственные границы. Помимо таких традиционных функций, как отделение и защита одного участка земли от других, они также позволяли землевладельцам избегать таможенных обременений. По соглашению в Лонкошине [Łąkoszyn] (1424/1426), заключенному дворянством, земли помещиков, обозначенные линейными границами, перестали быть доступными для чужих стад, которые паслись здесь осенью и зимой в силу прежних обычаев (Sawicki, 1972, n. 70, 125 (§ 32)). Более того, отсутствие искусственных границ вокруг села позволяло крестьянам оправдывать свою задолженность по платежам: «жители... просили, чтобы с момента демаркации границ вводились налоговые льготы, поскольку они столкнулись с отсутствием безопасности для них в отношении обработки любых земель и заботы о своих домах [<как> ранее], что стало невозможным»²⁴.

Искусственные границы определяли материальную базу и социальное положение отдельного помещика и его семьи. Кроме того, он воспринимал свою усадьбу как личное пространство, унаследованное от отца и служившее материальной связью с его предками. Иногда пограничный спор заставлял стороны вспомнить свои семейные традиции и, следовательно, способствовал формированию их идентичности:

*...в результате раздела земель наши предки, то есть наш покойный прадед Дажбог и покойный дедушка Пакош, взяли в свои владения и удерживали поместье Хлебово в нынешних границах более шестидесяти лет; впоследствии наши отцы [предки], то есть Михаил, отец Павла, Станислава и Алекса, вместе с его братьями и сестрами владели этой усадьбой более трех лет; и мы, после наших предшественников, владели им более трех лет до первого упоминания об этом имени.*²⁵

24 'incolae ... petierunt, ut eis libertas iret a tempore limitum, attento quod propter insecurity nihil potuerunt extirpare ac aedificii intendere'

25 'Jako przothkowe naschy tho yest przedzyath nasch Nyegdy daczbog y dzyath nyegdy pakosch poszyedly y dzerszely ymyenye Chlebowo po Rasdzyale yakj (!) dziedzyczy wlaszny jako tho ymyenye sza

Так заявил один из Мазовецких истцов в 1525 году. Земля была вещественной связью со временами предков. Эта связь также отражалась в словаре, касающемся унаследованной земли, которая называлась *hereditas/dziedzina* («земля дедушки») или, реже, *patrimonium/oyczyszna* («земля отца», в современном польском языке: «родина»). В этом контексте показателен случай, когда герб помещика был выгравирован на пограничных камнях в 1509 году²⁶. Это доказывает, что средневековые мазовшане не думали о своих владениях исключительно в денежном выражении. Они воспринимали унаследованную усадьбу как что-то вроде частного микромира, простирающегося вокруг самой важной точки личного пространства: дома²⁷. Неудивительно, что приграничные районы нередко становились местом вспышек агрессии и ссор. Под угрозой землевладельцы были готовы защищать свои владения любой ценой. Например, разграничение пахотных полей в 1485 году привело к тому, что <некий> помещик потерял часть своей земли. В дальнейшем он отчаянно пытался отстоять прежний *статус-кво*. «Если он отдаст кому-нибудь мою пустующую землю, я убью этого человека, прежде чем он посягнет на нее и вспашет ее; и эта земля будет залита кровью»²⁸, – предупредил Бартломей, местный помещик. В данном случае никакого вреда причинено не было, и Бартломей был вызван в суд. В иных случаях конфликт не исчерпывался словами. Если свидетельство старейшин было невыгодно помещику, он все же мог напугать их и заставить быстро отступить (Handelsman, 1920,), п. 729 (1407), 52-53). Согласно одному из параграфов *Второго Мазовецкого кодекса*, который называется «*Кодекс Горынского*» (1540 г.), делимитация вызывала и более драматичное поведение, когда в гневе землевладельцы прибегали к кулачным боям против своих соседей, свидетелей и старейшин (Sawicki, 1974, р. 211 (§219))²⁹. По сравнению с этими случаями разрушение пограничных маркеров во владениях, принадлежавших главе Плоцка, и присвоение сторожами участка на границе кажется тривиальным случаем (Ulanowski, 1915, n. 289 (1565), 250).

wszwzych granyczach ma viszy szesczy dzyesath lath a pothem oyczovye naschi tho yesth Mikolay oczecz pawlow y stanyslawow (!) oczecz alexego sbracza yego y syostramy viszy trzech lath y my po oyczach swych yestesmy wposeszy do wydanya pyrwszego poszw o tho ymyenye.' (Kuraszkiewicz & Wolff, 1950, n. 2317, 230).

²⁶ Acta capitulorum necnon iudiciorum ecclesiasticorum selecta, (Ulanowski, 1908, n. 209 (1509), 135).

²⁷ О правовом положении частного дома в правовой системе Мазовии см. (Myśliwski, 1999b, 142-147, 151-158).

²⁸ 'si alicui ager cesserit meus extirpatus, ilium ego, quamprimum transibit arare, eum interficiam et iste ager perfundetur sanguine', (Ulanowski, 1908, n. 144 (1485), 54).

²⁹ Zwod Gorynskiego (Gorynski's Code)



Поскольку человек позднего средневековья был привязан к своему собственному владению, он испытывал земельный голод, который побуждал его расширяться. Эта общая тенденция нашла свое отражение в частоте случаев разрушения пограничных маркеров и в попытках изменить линии границ в ущерб соседям. Невозделанные гребни вспахивали, земляные насыпи выравнивали (Sawicki, 1972, n. 99 (1452), 178 (§ 4)) или пристраивали к соседнему имению (Handelsman, 1920, n. 1987-1413, 141; Lubomirski, 1879, n. 184 (1410), 30; Kuraszkiewicz & Wolff, 1950, n. 1862(1501), 167), специально обозначенные деревья поджигали или вырубали (Lubomirski, 1879, n. 184 (1410), 30;), как и живую изгородь, иногда отметины на деревьях стирались путем опаливания коры, даже пограничные ручьи перенаправлялись в специально вырытые новые русла, чтобы отобрать часть соседнего участка (Włodarski, 1918, n. 427 (1427), 65).

Все подобные инциденты выливались в пограничные споры, которые можно было разрешить только путем установления новых границ. В пятнадцатом и шестнадцатом веках это обычно происходило в местном суде, а в исключительных случаях вмешивался сам герцог, как это произошло в Плоцке в 1435 году (Szacherska, 1975, n. 121, 183). Однако, за несколькими исключениями из правил, даже в таком важном центре, как Плоцк, нет упоминаний о значительных пограничных спорах внутри самого города. Можно предположить, что это произошло благодаря компактной планировке больших городов, некоторые из которых были окружены стенами, например Плоцк, Варшава и Пултуск: их пространство было разделено не только улицами и рядами домов, но и низкими стенами на частных границах. «Эта низкая стена должна быть построена на границе, или *namiedze*», – отмечалось в городской книге Варшавы в 1458 году³⁰. Соответственно, пространство внутри городских стен было плотно застроено; поэтому не было необходимости размечать границы так же, как в сельской местности. Однако это касалось только трех упомянутых городов. У большинства мазовецких городов и поселков не было внешних стен, но их планировка напоминала компактные деревни, построенные по немецким законам (Samsonowicz, 1994, pp. 273-274). Таким образом, можно рассматривать аграрные города и сельские поселения в Мазовии совместно. Можно предположить, что эти городские границы были похожи на сельские, и споры о них происходили в этих городах так же, как и в деревнях.

³⁰ 'Qui murus debet esse muratus in granicie alias *na medze*.' (Wolff, 1953, n. 36, 16).

Большое количество судебных споров о границах и демаркациях последовало за культурным процессом индивидуализации восприятия пространства. Отношение мазовшан к пространству стало гораздо более деятельным, чем в двенадцатом и тринадцатом веках. В период позднего средневековья и раннего Нового времени мазовшанам удалось взять под контроль пространство с помощью искусственных ориентиров, а также абстрактных единиц измерения земли. Благодаря этим двум средствам им удалось в значительной степени упорядочить площади в соответствии со своими потребностями и желаниями, а не в соответствии с особенностями местности. Мазовецких землевладельцев стали называть *granicznicy* («пограничниками») в шестнадцатом веке (Gieysztorowa & Żaboklicka, 1967b, p. 59). Огромное значение линейных искусственных границ сказалось и на их форме. Безусловно, особенности природной среды и культурного ландшафта по-прежнему выступали в качестве пограничных знаков (например, одной точкой границы, выбранной в 1439 году, было гнездо аиста) (Lubomirski, 1879, p. 8, n. 2 (1439)), как и традиционные сваи и изгороди. Однако растущая ценность земли в экономическом, не говоря уже о психологическом смысле, а также распространение точных топографических исследований вынудили мазовецкое население изобретать новые способы разделения земель. Элементы, определяющие прокладывание границ в соответствии с человеческой волей, удовлетворяли эти потребности. Обычно использовались две основные формы. Первая состояла из насыпей из земли или камней (*scopuli*, польск.: *korce*), иногда двойных или тройных (польск.: *korce uszate*, буквально: «курганы с ушами») (Gieysztorowa & Żaboklicka, 1967a, p. 191)³¹. Х-образный знак, вырезанный на стволах деревьев (польск.: *ciosno*), был вторым важным ориентиром в Мазовии между четырнадцатым и шестнадцатым веками. Они, конечно, не были полностью независимыми от природных условий, но благодаря им можно было обозначить линейные границы на любой местности. Другие маркеры включали вышеупомянутый пример гравировки герба владельца на пограничном камне, а также вбивания деревянного христианского креста в землю на границе (Lubomirski, 1879, n. 800 (1416), 51). Также рыли специальные канавы (Sulkowska-Kuraś & Kuraś, 1989, n. 216 (1334/1336), 220), которые иногда вымощивали камнями (Sawicki, 1972, n. 83 (1435), 147), чтобы обозначить границу на земле. Мы можем добавить примеры высоких внешних стен, укреплений из дерева и земли, а кроме того частоколы, а также низкие внутренние стены между усадьбами в городах. В случае пересечения водной площади

³¹ Inwentarz starostwa plockiego 1572



соседи чаще всего заключали соглашение, проводя условную линию, разделяющую пополам их пограничную реку или озеро (Włodarski, 1918, n. 765(1429), 120); однако иногда в качестве пограничного пункта служила вбитый в дно деревянный шест (Ulanowski, 1908, n. 290(1509), 135).

Поздние средневековые и ранние современные границы в Мазовии состояли из большего разнообразия элементов, чем в двенадцатом и тринадцатом веках. Появились и терминологические отличия: в пятнадцатом и шестнадцатом веках названия пограничных знаков также были записаны на польском языке. Помимо латинской и народной топонимики, также существовали индивидуальные обозначения границ. Например, пограничные деревья назывались «дуб, именуемый “Сгоревшим”» и «герцогский ясень» (Włodarski, 1930, n. 60 (1429), 12)³². Социальная память таким способом сохранила два важных события: местный пожар и присутствие герцога поблизости, а также его активное участие в разграничении. Таким образом, можно сказать, что локальные границы и их составляющие также играли роль вещественных напоминаний о прошлых событиях, важных для местных сообществ.

Между четырнадцатым и шестнадцатым веками Мазовия претерпела решающую трансформацию. Население увеличилось вдвое в период позднего средневековья и раннего современного периода (Gieysztorowa, 1962, p. 158); массовые поселения, возделывание и освоение обширных территорий, а также распространение искусственных границ повлияли на восприятие и описание пространства, что отражено в документах. Вместо того, чтобы рассматривать пространство как сеть отличительных точек, центров, окруженных аморфными элементами, описание территорий стало становиться гораздо точнее. Тогдашние хартии содержат многочисленные ссылки на «города, поселки и деревни», дополненные перечислением всех возможных зависимостей, а также особенностей природного ландшафта. Хартии также демонстрируют значение искусственных границ в отдельных статьях, например, «эти города и деревни были разграничены и очерчены по всей длине и ширине, а вокруг маркированы границами и пограничными знаками» (Sawicki, 1972, n. 98 (1451), 175). Цитата может быть признана уместным кратким изложением трансформации, имевшей место в устройстве, а также восприятия пространства в Мазовии между двенадцатым и шестнадцатым веками.

³² ‘usque arborum (!) dictum Kanssyeyessen’

В отличие от местных границ, внешние границы изучаемого региона носили естественный характер до 1437 г., когда на тевтонско-мазовецком фронтире был установлен первый рукотворный маркер (дубовый столб, окруженный насыпью камней) (Kowalczyk, 1992, p. 53). Искусственные границы на государственных рубежах были редкостью в пятнадцатом и шестнадцатом веках, в то время как во внутренних местностях искусственные указатели были обычным явлением, за исключением нескольких мест, «где не было пограничных знаков, а только пользование и владение»³³. Это различие подтверждает мнение Ханса Юргена Карпа о том, что искусственные границы появились впервые на небольших усадьбах (Karp, 1972, p. 118). Поэтому их появление можно интерпретировать как указание на определенные социально-экономические и культурные процессы. Как видим, местная граница – это не только локальный вопрос. История искусственных линейных границ в Мазовии формировалась под влиянием различных факторов, внутренних и внешних, природных, демографических, экономических, социальных, политических и культурных. Локальные границы – это не только интересная тема для исследований, но и одна из концепций культуры, с помощью которой может быть достигнуто полное представление о прошлом.

Список литературы

- Banaszkiewicz, J. (1979). *Fabularyzacja przestrzeni. Średniowieczny przykład granic* [Mythifying space. The medieval example of boundaries]. *Kwartalnik Historyczny*, (86), 987-999. (In Polish)
- Banaszkiewicz, J. (1986). *Jedność porządku przestrzennego, społecznego i tradycji początków ludu (uwagi o urzędzeniu wspólnoty plemiennie-państwowej u Słowian)* [The unity of spatial and social order and the tradition of the origins of the nation: some remarks on the arrangement of tribal and state community among the Slavs]. *Przegląd Historyczny*, (77), 445-466. (In Polish)
- Banaszkiewicz, J. (1998). *Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka* [Fabulous history of Poland after Master Vincent nicknamed Kadłubek]. Wrocław. (In Polish)
- Bartlett, R. (1993). *The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350*.
- Biskup, M., & Labuda, G. (1988). *Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach: gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia* [The history of the Teutonic Order in Prussia]. (In Polish)

³³ 'ubi ante nulla signa granicialia fuerunt, solum ursus et possessio', ZG, 169 (§ 90).



- Czarnowski, S. (1925). Le morcellement de l'étendue et sa limitation dans la religion et la magie [The fragmentation of the area and its limitation in religion and magic]. In *Actes du IV Congrès International d'Histoire des Religions [Proceedings of the IV International Congress on History of Religions]* (pp. 339-358). Paris. (In French)
- Dunin, K. (1880). *Dawne mazowieckie prawo [The Masovian Old Law]*. Warsaw. (In Polish)
- Galicka, I. & Sygietyńska, H. (2006). Sztuka gotycka (XIV- początek XVI w.). In A. Gieysztor, H. Samsonowicz (Eds.) *Dzieje Mazowsza do roku 1526*, (pp. 401-446). Warsaw. (In Polish)
- Gasiorowski, A. (1977). Rex Ambulans. *Quaestiones Medii Aevi*, (1), 139-162.
- Geremek, B. (1997). Poczucie przestrzeni i świadomość historyczna [The perception of space and historical consciousness]. In B. Geremek (Ed.) *Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w. [The history of Polish culture in the fourteenth and the fifteenth centuries]* (pp. 637-642). Warsaw. (In Polish)
- Gieysztor, A. & Samsonowicz, H. (Eds.). (1994). *Dzieje Mazowsza do 1526 roku [A history of Masovia to 1526]*. Warsaw. (In Polish)
- Gieysztorowa, I. (1962). *Demografia mazowieckiego tysiąclecia [A demography of Masovian history]*. In 1962 - Rok Ziemi Mazowieckiej 1962- Year of the Masovian region]. Płock. (In Polish)
- Gieysztorowa, I., & Żaboklicka, A. (Eds.). (1967a). Inwentarz starostwa plockiego 1572 [The inventory of the royal demesne around Plock]. In *Lustracja województwa mazowieckiego, 1565 [The description of the inspections of Plock province]* (p. 161-207). Warsaw. (In Polish)
- Gieysztorowa, I., & Żaboklicka, A. (Eds.). (1967b). *Lustracja województwa mazowieckiego, 1565, vol. 1 [The description of the inspection of the Masovian province]*. Warsaw. (In Polish)
- Górecki, P. (1993). Parishes, Tithes and Society in Earlier Medieval Poland c. 1100-c. 1250. Philadelphia. *Transactions of the American Philosophical Society*, 83(2), Doi:10.2307/1006491
- Górecki, P. (1999). Community, Memory and Law in Medieval Poland. In S. Kirschbaum (Ed.) *Historical Reflections on Central Europe*, (15-26). London and New York. Doi:10.1007/978-1-349-27112-2_3
- Grodecki, R. (Ed.). (1949). *Księga Henrykowska*. Poznań. (In Polish)
- Grodziski, S., Dwornicka, I. & Uruszczak, W. (Eds.). (1996). *Volumina Constitutionum*, vol. 1, part 1 (1493-1526). Warsaw.
- Handelsman, M. (Ed.). (1920). *Księga ziemi płońskiej (1400-1417) (The book of the noble court in Płock) [The book of the noble court in Płock]*. Warsaw. (In Polish)
- Karp, H. (1972). *Grenzen in Ostmitteleuropa während des Mittelalters: Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Grenzlinie aus dem Grenzsaum [Borders in Central*

Europe during the Middle Ages. A contribution to the genesis of the border line from the border line]. Cologne and Vienna. (In German)

- Kiersnowski, R. (1960). Znaki graniczne w Polsce średniowiecznej [Boundary-markers in medieval Poland], *Archeologia Polski*, (5), 257-289. (In Polish)
- Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego [The collection of documents from the Masovian Dukedom].* (1863). Warsaw. (In Polish)
- Korwin-Kochanowski, J. (1919). *Zbiór spominków i przywilejów mazowieckich [The collection of Masovian charters and excerpts; hereafter ZSPM].* Warsaw. (In Polish)
- Kossmann, O. (1993). Vom altpolnischen Opole, schlesischen Weichbild und Powiat des Adels [From the old Polish Opole, Silesian Weichbild and discript of the nobility]. *Zeitschrift für Ostforschung*, (42), 161-194. (In German)
- Kowalczyk, E. (1992). Topografia granicy mazowiecko-krzyżackiej w świetle ugody granicznej z listopada 1343 roku [The topography of the boundary between Masovia and the Teutonic Order in the light of the boundary treaty of November 1343]. *Kwartalnik Historyczny*, 99, 33-58. (In Polish)
- Kula, W. (1970). *Miary i ludzie [Measures and men].* Warsaw. (In Polish)
- Kuraszkiewicz, W., & Wolff, A. (1950). *Zapiski i rotty polskie XV-XVI wieku: Z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej [Records and oaths from the fifteenth and sixteenth centuries written in Polish from the court's books of the Warsaw district].* Krakow. (In Polish)
- Kürbis, B. (1968). Najstarsze dokumenty opactwa benedyktynów w Mogilnie (XI-XII w.) [The oldest charters of the Benedictine abbey in Mogilno, the eleventh and twelfth centuries]. *Studia Źródłoznawcze*, (13), 27-61. (In Polish)
- Łaguna, S. (1875). *O prawie granicznym polskim [On Polish boundary law].* Warsaw. (In Polish)
- Lalik, T. (1970). *Sors et aratrum. Contribution a l'histoire sociale de la grande propriété domaniale en Pologne et en Bohême au Moyen Age [Sors et aratrum. Contribution to the social history of large estate in Poland and Bohemia in the Middle Ages].* *Kwartalnik Historii Kultury Materialnej*, (17), 3-22. (In French)
- Lubomirski, J. T. (Ed.). (1879). *Księga ziemi czerskiej [The book of the noble court in Czersk district].* Warsaw. (In Polish)
- Mączak, A. (1986). *Rządzący i rządzeni: Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej [Rulers and the ruled: power and society in early modern Europe].* Warsaw. (In Polish)
- Maleczyński, K. (Ed.). (1952). *Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum.* In *Monumenta Poloniae Historica: Series Nova*, vol. 2. Cracow.
- Manteuffel, T. (1929). *Metoda oznaczania granic w geografii historycznej [The method of boundary marking in historical geography].* In *Księga pamiątkowa dla prof. M. Handelsmana [Studies offered to Profesoor M. Handelsman]* (pp. 221-228), Warsaw. (In Polish)



- Matuszewski, J. (1991). *Vicinia id est poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola [A search for an alternative theory on medieval neighbourhood community]*. Łódź. (In Polish)
- Modzelewski, K. (1975). *Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego: X-XIII wiek [The economic organisation of the Piast state from the tenth to the thirteenth centuries]*. (In Polish)
- Modzelewski, K. (1977). The system of the Ius Ducale and the idea of feudalism (Comments on the earliest class society in medieval Poland). *Quaestiones Mediaevi*, (1), 71-99.
- Modzelewski, K. (1987). *Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej [Peasants in the monarchy of the Piasts]*. Wrocław. (In Polish)
- Modzelewski, K. (1988). L'organisation de l'opole (vicinia) dans la Pologne des Piasts [The organization of opole (vicinia) in Piasts Poland]. *Acta Poloniae Historica*, (57), 43-76. (In French)
- Myśliwski, G. (1999a). Boundary delimitation in Medieval Poland. In S. Kirschbaum (Ed.) *Historical Reflections on Central Europe* (pp. 27-36). London and New York.
- Myśliwski, G. (1999b). *Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni (Mazowsze od XII do poł. XVI wieku) [Medieval man towards time and space: the Masovia region from the twelfth until the mid-sixteenth centuries]*. Warsaw. (In Polish)
- Natanson-Leski, J. (1953). *Zarys granic i podziałów Polski najstarszej [The course of borders and divisions in early medieval Poland]*. (In Polish)
- Ochmański, J. (1960). La grande réforme agraire en Lituanie et en Ruthénie Blanche au XVIe siècle. *Ergon*, (2), 329-342. (In French)
- Ohryzko, J. (Ed.). (1859). *Volumina legum*. St Petersburg.
- Pacuski, K. (1982). Żyra. In *Słownik starożytności słowiańskich [The dictionary of Slavic antiquities]*, vol. 7. (pp. 274–275). Wrocław. (In Polish)
- Podwińska, Z. (1971). *Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wcześniejszym średniowieczu: żreb, wieś, opole [The structural changes of rural settlement in earlier medieval Poland: household, village, neighbourhood community]*. Wrocław. (In Polish)
- Poppe, D. (Ed.) (1995). *Księga ławnicza miasta Płocka: 1489-1517 [The book of the lower town court of Plock]*. Warsaw. (In Polish)
- Rhode, G. (1955). *Die Ostgrenze Polens. Politische Entwicklung, kulturelle Bedeutung und geistige Auswirkung [The eastern border of Poland. Political development, cultural significance and spiritual impact]*. Cologne and Graz. (In German)
- Russocki, S. (1956). Z badań nad statutami książąt mazowieckich z XIV i XV wieku [Research on Masovian ducal statutes of the XIV and XV centuries]. *Czasopismo Prawno-Historyczne*, (8), 227-252. (In Polish)
- Russocki, S. (1961). *Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza (koniec XIV-połowa XVI wieku) [Forms of lordship over land in Masovian county law: XIV-half of XVI century]*

from the end of the fourteenth to the middle of the sixteenth centuries]. (In Polish)

- Samsonowicz, H. (1975). Piastowskie Mazowsze a Królestwo Polskie XIII-XV w. [Masovia under the Piast dynasty and the Kingdom of Poland]. In R. Heck (Eds.) *Piastowie w dziejach Polski [The Piast dynasty in the history of Poland]* (115–134). Wrocław. (In Polish)
- Samsonowicz, H. (1977). La Conception de l'espace dans la cité médiévale [The Design Of Space In The Medieval City]. *Quaestiones Medii Aevi*, (1), 163-172.
- Samsonowicz, H. (1994). Gospodarka i społeczeństwo (XIII - początek XVI) [Economy and society from the thirteenth to the beginning of the sixteenth centuries]. In Gieszytor, A. & Samsonowicz, H., (Eds.) *Dzieje Mazowsza do 1526 roku* (pp. 249-293). (In Polish)
- Sawicki, J. (1972). *Iura Masoviae terrestria: Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego. T. 1. [Iura Moscoviae terrestrial: Monuments of the old Masovian land law. Vol. 1.]*. Warsaw. (In Polish)
- Sawicki, J. (1974). *Iura Masoviae terrestria: Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego. T. 3. [Iura Moscoviae terrestrial: Monuments of the old Masovian land law. Vol. 3.]*. Warsaw. (In Polish)
- Sondel, J. (1997). *Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków [Latin dictionary for lawyers and historians]*. Cracow. (In Polish)
- Stomma, L. (1986). *Campagnes insolites: Paysannerie polonaise et mythes européens [Unusual campaigns: Polish peasantry and European myths]*. (in French)
- Sucheni-Grabowska, A., (1967). *Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548 [Rebuilding the royal domain in Poland 1504-1548]*. Wrocław. (In Polish)
- Suchodolska, E. (1994). 'Dzieje polityczne (połowa XIII - połowa XIV) [Political History from the middle of the thirteenth to the middle of the fourteenth century]. In Gieszytor, A., & Samsonowicz, H. (Eds.) *Dzieje Mazowsza do 1526 roku* (pp. 177–212). (In Polish)
- Sulkowska-Kuraś, I. & Kuraś, S. (Eds.). (1989). *Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza [The new collection of Masovian charters]*. Warsaw. (In Polish)
- Szacherska, S. M. (Ed.) (1975). *Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, vol. 1 (1065-1495) [The collection of documents and letters of Plock]*. Warsaw. (In Polish)
- Tomicka, J. & Tomicki, R. (1975). *Drzewo życia: Ludowa wizja świata i człowieka [Tree of Life. Folk views on man and the world]*. (In Polish)
- Trawkowski, S. (1969). Kaźń kasztelana Bolesty (1170) w tradycji płockiej [The martyrdom of the castellan Bolesta according to the records of Plock]. *Studia Źródłoznawcze*, 14, 53-61. (In Polish)
- Tymieniecki, K. (1912). *Majętność książęca w Zagościu i pierwotne uposażenie klasztoru Joannitów, na tle osadnictwa dorzecza dolnej Nidy [The ducal estate in Zagosc and the original endowment of the house of the Hospitallers of St John in the context of the settlement in the lower Nida river basin]*. Cracow. (In Polish)



- Tymieniecki, K. (1920). *Najdawniejsze Księgi sądowe mazowieckie [The oldest Mazovian court books]*. Warsaw. (In Polish)
- Ulanowski, B. (Ed.). (1926). *Acta Ecclesie Collegiatae Varsoviensis*. In *Archiwum Komisji Prawniczej*. Vol. 6 [The Archive of the Juridical Committee]. Cracow. (In Polish)
- Ulanowski, B. (Ed.). (1915). *Acta capituli Plocensis: Ab anno 1514 ad annum 1577*. Krakow. (In Polish)
- Ulanowski, B. (Ed.). (1902). *Acta capitulorum necnon iudiciorum ecclesiasticorum selecta*, vol. 2. Cracow.
- Ulanowski, B. (Ed.). (1908). *Acta capitulorum necnon iudiciorum ecclesiasticorum selecta*, vol. 3. Cracow. (In Polish)
- Wajs, H. (1986). *Powinności feudalne chłopów na Mazowszu od XIV do początku XVI wieku: (w dobrach monarszych i kościelnych) [The feudal burdens of peasants in Masovia from the fourteenth to the beginning of the sixteenth centuries]*. Wrocław. (In Polish)
- Warężak, J. (1952). *Osadnictwo kasztelanii łowickiej, 1136-1847. [Settlement in the castellani of Lowicz]*. Łódź. (In Polish)
- Wierzbowski, T. (Ed.). (1913). *Przywileje królewskiego miasta stołecznego Starej Warszawy, 1376-1772 [The charters of the royal town of Old Warsaw]*. Warsaw. (In Polish)
- Wiśniewski, J. (1973). *Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku [The history of the settlement in the Grajewo district up to the middle of the sixteenth century]*. In *Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego*. Vol. 1 [Studies and records concerning the history of Grajewo district] (pp. 9-253). Warsaw. (In Polish)
- Włodarski, A. (Ed.). (1918). *Metryka księstwa mazowieckiego, vol. 1 (1417—1429) [The Register of diplomas of the Masovian Dukedom]*. Warsaw. (In Polish)
- Włodarski, A. (Ed.). (1930). *Metryka księstwa mazowieckiego, vol. 2 (1417—1429) [The Register of diplomas of the Masovian Dukedom]*. Warsaw. (In Polish)
- Wolff, A. (1962). *Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526 [Studies on Masovian officials 1370-1526]*. Wrocław. (In Polish)
- Wolff, A. (Ed.). (1953). *Księga radziecka miasta Starej Warszawy [Town council's book of the city of Old Warsaw]*. Wrocław.

References

- Banaszkiewicz, J. (1979). *Fabularyzacja przestrzeni. Średniowieczny przykład granic [Mythifying space. The medieval example of boundaries]*. *Kwartalnik Historyczny*, (86), 987-999. (In Polish)
- Banaszkiewicz, J. (1986). *Jedność porządku przestrzennego, społecznego i tradycji początków ludu (uwagi o urządzeniu wspólnoty plemiennie-państwowej u*

- Słowian) [The unity of spatial and social order and the tradition of the origins of the nation: some remarks on the arrangement of tribal and state community among the Slavs]. *Przegląd Historyczny*, (77), 445-466. (In Polish)
- Banaszkiewicz, J. (1998). *Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka [Fabulous history of Poland after Master Vincent nicknamed Kadłubek]*. Wrocław. (In Polish)
- Bartlett, R. (1993). *The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350*.
- Biskup, M., & Labuda, G. (1988). *Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach: gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia [The history of the Teutonic Order in Prussia]*. (In Polish)
- Czarnowski, S. (1925). Le morcellement de l'étendue et sa limitation dans la religion et la magie [The fragmentation of the area and its limitation in religion and magic]. In *Actes du IV Congrès International d'Histoire des Religions [Proceedings of the IV International Congress on History of Religions]* (pp. 339-358). Paris. (In French)
- Dunin, K. (1880). *Dawne mazowieckie prawo [The Masovian Old Law]*. Warsaw. (In Polish)
- Galicka, I. & Sygietyńska, H. (2006). Sztuka gotycka (XIV- początek XVI w.). In A. Gieysztor, H. Samsonowicz (Eds.) *Dzieje Mazowsza do roku 1526*, (pp. 401-446). Warsaw. (In Polish)
- Gasiorowski, A. (1977). Rex Ambulans. *Quaestiones Medii Aevi*, (1), 139-162.
- Geremek, B. (1997). Poczucie przestrzeni i świadomość historyczna [The perception of space and historical consciousness]. In B. Geremek (Ed.) *Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w. [The history of Polish culture in the fourteenth and the fifteenth centuries]* (pp. 637-642). Warsaw. (In Polish)
- Gieysztor, A. & Samsonowicz, H. (Eds.). (1994). *Dzieje Mazowsza do 1526 roku [A history of Masovia to 1526]*. Warsaw. (In Polish)
- Gieysztorowa, I. (1962). *Demografia mazowieckiego tysiąclecia [A demography of Masovian history]*. In 1962 - Rok Ziemi Mazowieckiej 1962- Year of the Masovian region]. Płock. (In Polish)
- Gieysztorowa, I., & Żaboklicka, A. (Eds.). (1967a). Inwentarz starostwa plockiego 1572 [The inventory of the royal demesne around Plock]. In *Lustracja województwa mazowieckiego, 1565 [The description of the inspections of Plock province]* (p. 161-207). Warsaw. (In Polish)
- Gieysztorowa, I., & Żaboklicka, A. (Eds.). (1967b). *Lustracja województwa mazowieckiego, 1565*, vol. 1 [The description of the inspection of the Masovian province]. Warsaw. (In Polish)
- Górecki, P. (1993). Parishes, Tithes and Society in Earlier Medieval Poland c. 1100-c. 1250. Philadelphia. *Transactions of the American Philosophical Society*, 83(2), Doi:10.2307/1006491



- Górecki, P. (1999). Community, Memory and Law in Medieval Poland. In S. Kirschbaum (Ed.) *Historical Reflections on Central Europe*, (15-26). London and New York. Doi:10.1007/978-1-349-27112-2_3
- Grodecki, R. (Ed.). (1949). *Księga Henrykowska*. Poznań. (In Polish)
- Grodziski, S., Dwornicka, I. & Uruszczak, W. (Eds.). (1996). *Volumina Constitutionum*, vol. 1, part 1 (1493-1526). Warsaw.
- Handelsman, M. (Ed.). (1920). *Księga ziemi płońskiej (1400-1417) (The book of the noble court in Płońsk) [The book of the noble court in Płońsk]*. Warsaw. (In Polish)
- Karp, H. (1972). *Grenzen in Ostmitteleuropa während des Mittelalters: Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Grenzlinie aus dem Grenzsaum [Borders in Central Europe during the Middle Ages. A contribution to the genesis of the border line from the border line]*. Cologne and Vienna. (In German)
- Kiersnowski, R. (1960). Znaki graniczne w Polsce średniowiecznej [Boundary-markers in medieval Poland], *Archeologia Polski*, (5), 257-289. (In Polish)
- Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego [The collection of documents from the Masovian Dukedom]*. (1863). Warsaw. (In Polish)
- Korwin-Kochanowski, J. (1919). *Zbiór spominków i przywilejów mazowieckich [The collection of Masovian charters and excerpts; hereafter ZSPM]*. Warsaw. (In Polish)
- Kossmann, O. (1993). Vom altpolnischen Opole, schlesischen Weichbild und Powiat des Adels [From the old Polish Opole, Silesian Weichbild and district of the nobility]. *Zeitschrift für Ostforschung*, (42), 161-194. (In German)
- Kowalczyk, E. (1992). Topografia granicy mazowiecko-krzyżackiej w świetle ugody granicznej z listopada 1343 roku [The topography of the boundary between Masovia and the Teutonic Order in the light of the boundary treaty of November 1343]. *Kwartalnik Historyczny*, 99, 33-58. (In Polish)
- Kula, W. (1970). *Miary i ludzie [Measures and men]*. Warsaw. (In Polish)
- Kuraszkiewicz, W., & Wolff, A. (1950). *Zapiski i rotę polskie XV-XVI wieku: Z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej [Records and oaths from the fifteenth and sixteenth centuries written in Polish from the court's books of the Warsaw district]*. Kraków. (In Polish)
- Kürbis, B. (1968). Najstarsze dokumenty opactwa benedyktynów w Mogilnie (XI-XII w.) [The oldest charters of the Benedictine abbey in Mogilno, the eleventh and twelfth centuries]. *Studia Źródłoznawcze*, (13), 27-61. (In Polish)
- Łaguna, S. (1875). *O prawie granicznym polskim [On Polish boundary law]*. Warsaw. (In Polish)
- Lalik, T. (1970). *Sors et aratrum. Contribution à l'histoire sociale de la grande propriété domaniale en Pologne et en Bohême au Moyen Age [Sors et aratrum. Contribution to the social history of large estate in Poland and Bohemia in the Middle Ages]*. *Kwartalnik Historii Kultury Materialnej*, (17), 3-22. (In French)

- Lubomirski, J. T. (Ed.). (1879). *Księga ziemi czerskiej [The book of the noble court in Czersk district]*. Warsaw. (In Polish)
- Mączak, A. (1986). *Rządzący i rządzeni: Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej [Rulers and the ruled: power and society in early modern Europe]*. Warsaw. (In Polish)
- Maleczyński, K. (Ed.). (1952). *Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum*. In *Monumenta Poloniae Historica: Series Nova*, vol. 2. Cracow.
- Manteuffel, T. (1929). *Metoda oznaczania granic w geografii historycznej [The method of boundary marking in historical geography]*. In *Księga pamiątkowa dla prof. M. Handelsmana [Studies offered to Prof. M. Handelsman]* (pp. 221-228), Warsaw. (In Polish)
- Matuszewski, J. (1991). *Vicinia id est ...: poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola [A search for an alternative theory on medieval neighbourhood community]*. Łódź. (In Polish)
- Modzelewski, K. (1975). *Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego: X-XIII wiek [The economic organisation of the Piast state from the tenth to the thirteenth centuries]*. (In Polish)
- Modzelewski, K. (1977). The system of the Ius Ducale and the idea of feudalism (Comments on the earliest class society in medieval Poland). *Quaestiones Mediaevi*, (1), 71-99.
- Modzelewski, K. (1987). *Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej [Peasants in the monarchy of the Piasts]*. Wrocław. (In Polish)
- Modzelewski, K. (1988). L'organisation de l'opole (vicinia) dans la Pologne des Piasts [The organization of opole (vicinia) in Piasts Poland]. *Acta Poloniae Historica*, (57), 43-76. (In French)
- Myśliwski, G. (1999a). Boundary delimitation in Medieval Poland. In S. Kirschbaum (Ed.) *Historical Reflections on Central Europe* (pp. 27-36). London and New York.
- Myśliwski, G. (1999b). *Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni (Mazowsze od XII do poł. XVI wieku) [Medieval man towards time and space: the Masovia region from the twelfth until the mid-sixteenth centuries]*. Warsaw. (In Polish)
- Natanson-Leski, J. (1953). *Zarys granic i podziałów Polski najstarszej [The course of borders and divisions in early medieval Poland]*. (In Polish)
- Ochmański, J. (1960). La grande réforme agraire en Lituanie et en Ruthénie Blanche au XVIe siècle. *Ergon*, (2), 329-342. (In French)
- Ohryzko, J. (Ed.). (1859). *Volumina legum*. St Petersburg.
- Pacuski, K. (1982). Żyra. In *Słownik starożytności słowiańskich [The dictionary of Slavic antiquities]*, vol. 7. (pp. 274-275). Wrocław. (In Polish)
- Podwińska, Z. (1971). *Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wcześniejszym średniowieczu: żreb, wieś, opole [The structural changes of rural settlement in earlier medieval Poland: household, village, neighbourhood community]*. Wrocław. (In Polish)



- Poppe, D. (Ed.) (1995). *Księga ławnicza miasta Płocka: 1489-1517* [The book of the lower town court of Plock]. Warsaw (In Polish)
- Rhode, G. (1955). *Die Ostgrenze Polens. Politische Entwicklung, kulturelle Bedeutung und geistige Auswirkung* [The eastern border of Poland. Political development, cultural significance and spiritual impact]. Cologne and Graz. (In German)
- Russocki, S. (1956). Z badań nad statutami książąt mazowieckich z XIV i XV wieku [Research on Masovian ducal statutes of the XIV and XV centuries]. *Czasopismo Prawno-Historyczne*, (8), 227-252. (In Polish)
- Russocki, S. (1961). *Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza (koniec XIV- połowa XVI wieku)* [Forms of lordship over land in Masovian county law: from the end of the fourteenth to the middle of the sixteenth centuries]. (In Polish)
- Samsonowicz, H. (1975). Piastowskie Mazowsze a Królestwo Polskie XIII-XV w. [Masovia under the Piast dynasty and the Kingdom of Poland]. In R. Heck (Eds.) *Piastowie w dziejach Polski* [The Piast dynasty in the history of Poland] (115–134). Wrocław. (In Polish)
- Samsonowicz, H. (1977). La Conception de l'espace dans la cité médiévale [The Design Of Space In The Medieval City]. *Quaestiones Medii Aevi*, (1), 163-172.
- Samsonowicz, H. (1994). Gospodarka i społeczeństwo (XIII - początek XVI) [Economy and society from the thirteenth to the beginning of the sixteenth centuries]. In Gieszytor, A. & Samsonowicz, H., (Eds.) *Dzieje Mazowsza do 1526 roku* (pp. 249-293). (In Polish)
- Sawicki, J. (1972). *Iura Masoviae terrestria: Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego. T. 1.* [Iura Moscoviae terrestrial: Monuments of the old Masovian land law. Vol. 1.]. Warsaw. (In Polish)
- Sawicki, J. (1974). *Iura Masoviae terrestria: Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego. T. 3.* [Iura Moscoviae terrestrial: Monuments of the old Masovian land law. Vol. 3.]. Warsaw. (In Polish)
- Sondel, J. (1997). *Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków* [Latin dictionary for lawyers and historians]. Cracow. (In Polish)
- Stomma, L. (1986). *Campagnes insolites: Paysannerie polonaise et mythes européens* [Unusual campaigns: Polish peasantry and European myths]. (in French)
- Sucheni-Grabowska, A., (1967). *Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548* [Rebuilding the royal domain in Poland 1504-1548]. Wrocław. (In Polish)
- Suchodolska, E. (1994). 'Dzieje polityczne (połowa XIII - połowa XIV) [Political History from the middle of the thirteenth to the middle of the fourteenth century]. In Gieysztor, A., & Samsonowicz, H. (Eds.) *Dzieje Mazowsza do 1526 roku* (pp. 177–212). (In Polish)
- Sulkowska-Kuraś, I. & Kuraś, S. (Eds.). (1989). *Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza* [The new collection of Masovian charters]. Warsaw. (In Polish)
- Szacherska, S. M. (Ed.) (1975). *Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, vol. 1 (1065-1495)* [The collection of documents and letters of Plock]. Warsaw. (In Polish)

- Tomicka, J. & Tomicki, R. (1975). *Drzewo życia: Ludowa wizja świata i człowieka* [Tree of Life. Folk views on man and the world]. (In Polish)
- Trawkowski, S. (1969). Kaźń kasztelana Bolesty (1170) w tradycji plockiej [The martyrdom of the castellan Bolesta according to the records of Płock]. *Studia Źródłoznawcze*, 14, 53-61. (In Polish)
- Tymieniecki, K. (1912). *Majątność książęca w Zagościu i pierwotne uposażenie klasztoru Joannitów, na tle osadnictwa dorzecza dolnej Nidy* [The ducal estate in Zagosc and the original endowment of the house of the Hospitallers of St John in the context of the settlement in the lower Nida river basin]. Cracow. (In Polish)
- Tymieniecki, K. (1920). *Najdawniejsze Księgi sądowe mazowieckie* [The oldest Mazovian court books]. Warsaw. (In Polish)
- Ulanowski, B. (Ed.). (1926). *Acta Ecclesie Collegiatae Varsoviensis*. In *Archiwum Komisji Prawniczej*. Vol. 6 [The Archive of the Juridical Committee]. Cracow. (In Polish)
- Ulanowski, B. (Ed.) (1915). *Acta capituli Plocensis: Ab anno 1514 ad annum 1577*. Krakow. (In Polish)
- Ulanowski, B. (Ed.). (1902). *Acta capitulorum necnon iudiciorum ecclesiasticorum selecta*, vol. 2. Cracow.
- Ulanowski, B. (Ed.). (1908). *Acta capitulorum necnon iudiciorum ecclesiasticorum selecta*, vol. 3. Cracow. (In Polish)
- Wajs, H. (1986). *Powinności feudalne chłopów na Mazowszu od XIV do początku XVI wieku: (w dobrach monarszych i kościelnych)* [The feudal burdens of peasants in Masovia from the fourteenth to the beginning of the sixteenth centuries]. Wrocław. (In Polish)
- Warężak, J. (1952). *Osadnictwo kasztelanii łowickiej, 1136-1847*. [Settlement in the castellani of Lowicz]. Łódź. (In Polish)
- Wierzbowski, T. (Ed.). (1913). *Przywileje królewskiego miasta stołecznego Starej Warszawy, 1376-1772* [The charters of the royal town of Old Warsaw]. Warsaw. (In Polish)
- Wiśniewski, J. (1973). *Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku* [The history of the settlement in the Grajewo district up to the middle of the sixteenth century]. In *Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego*. Vol. 1 [Studies and records concerning the history of Grajewo district] (pp. 9-253). Warsaw. (In Polish)
- Włodarski, A. (Ed.). (1918). *Metryka księstwa mazowieckiego, vol. 1 (1417—1429)* [The Register of diplomas of the Masovian Dukedom]. Warsaw. (In Polish)
- Włodarski, A. (Ed.). (1930). *Metryka księstwa mazowieckiego, vol. 2 (1417—1429)* [The Register of diplomas of the Masovian Dukedom]. Warsaw. (In Polish)
- Wolff, A. (1962). *Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526* [Studies on Masovian officials 1370-1526]. Wrocław. (In Polish)
- Wolff, A. (Ed.). (1953). *Księga radziecka miasta Starej Warszawy* [Town council's book of the city of Old Warsaw]. Wrocław.

**СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ
ФРОНТИРНОЙ ТЕОРИИ**

**RELATED QUESTIONS OF
FRONTIER THEORY**

BOUNDARY SYMBOLISM AND DUAL DEITIES AS PATRONS IN ANCIENT NAVIGATION. ASPECTS OF RITUAL AND MYTHOLOGY

Iuliia V. Kozhukhovskaia (a)

(a) Sevastopol State University. Sevastopol, Russia. Email: [jv-k\[at\]mail.ru](mailto:jv-k[at]mail.ru)

Abstract

The article focuses on identification of types of dual deities in the context of their correlation with ancient navigation, representing the borderline state in symbolic terms, and associated with the transition qualities. The paper sets the layers of their symbolism that originate from the system of maritime rites, overlapping with the interweaving of these deities into Indo-European solar myth of the Bronze Age that, first of all, embodies the duality of cosmos. The semantics of the Divine twins and the two-faced god Janus focuses on liminal qualities that require protection. Dioscuri-Ashvins do not so much save the sun from the underworld, as they rather ensure the safety of the transition: the borderline state is no less dangerous than the underworld. While Dioscuri act as guardians of the boundary in the view of their polarity and the dynamics of their myth (they are divided and located in different worlds of Axis Mundi), Janus has identical functions, yet in terms of his stationary status: he “allows” the sun to pass at dawn and at sunset. Janus concentrates the symbolism of intercrossing of space and time, accompanied by the development of four- and five-faced deities. The solar motif unfolds at the level of microcosm as well: both Janus and Dioscuri are mythologized as patrons of those who appear in a boundary condition, i.e., travelers and sailors.

Keywords

Janus; Divine twins; maritime rites; correlation of ritual and myth; Indo-European studies; astral myths; solar myth of the Bronze Age; boundary symbolism; upper-lower world dichotomy; Greek-Roman mythology



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ПОРОГОВОСТЬ И ДВОИЧНЫЕ БОЖЕСТВА КАК ПОКРОВИТЕЛИ ДРЕВНЕГО МОРЕПЛАВАНИЯ. ОБРЯДОВО-МИФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Кожуховская Юлия Витальевна (а)

(а) Севастопольский государственный университет. Севастополь, Россия. Email: [jv-k\[at\]mail.ru](mailto:jv-k[at]mail.ru)

Аннотация

Статья посвящена выявлению типов двоичных божеств в контексте их взаимосвязи с мореплаванием древности, представляющих пограничное состояние, связанное с качествами переходности. Выявляются слои их символизма, происходящие из сложившейся системы морских обрядов, с учетом вплетения рассматриваемых божеств в индоевропейский солярный миф эпохи бронзы, воплощающий, в первую очередь, двоичность космоса. Семантика небесных близнецов и двуликого бога Януса фокусируется на пороговых качествах, которые требуют защиты. Диоскуры-Ашвины не столько спасают солнце из нижнего мира, сколько обеспечивают безопасность перехода: пограничное состояние опасно не менее, чем нижний мир. И если Диоскуры выступают стражами границы ввиду полярности, а также с учетом динамики соответствующего мифа (они разделены и могут путешествовать по разным сферам Оси Мира), то Янус выполняет идентичную функцию, но исходя из своего стационарного статуса – он «разрешает» солнцу проход. Римский Янус концентрирует в себе свойства «пересечения» пространства-времени, из которого следует четырех-, пятиликость божеств данного типа. Солярный сюжет разворачивается, соответственно, на уровне микрокосма: и Янус, и Диоскуры мифопоэтизируются как покровители тех, кто находится в пограничном состоянии, то есть путешественников и мореплавателей.

Ключевые слова

Янус; боги-близнецы; морская обрядность; корреляция обряда и мифа; индоевропеистика; астральные мифы; солярный миф эпохи бронзы; пороговый символизм; дихотомия верхний-нижний мир; греко-римская мифология



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ВВЕДЕНИЕ

Для морских цивилизаций древности характерен развитый пантеон, представляющий различные аспекты мореходства. А. Броуди выделяет два основных типа таких божеств: «штормовые» боги, которые контролируют ветер, влияющий на ход путешествия, и боги, которые способствуют успешной навигации (Brody, 2002, p. 189). Их символическая вербализация в мифологии многоаспектна и полиморфна; вместе с тем, можно выделить ряд дуальных божеств, представленных, в частности в мифопоэтизации корабля как средства перехода. Цель статьи – выявить обрядово-мифологические истоки формирования двоичных богов с солярно-корабельным символизмом в индоевропейской мифологии (в первую очередь, на материале греко-римской мифологии).

Основные функции корабля в мифопоэтической картине мира концентрируются вокруг качеств перехода, основанных на символизме морей и рек, которые непосредственно отвечают за пограничные состояния. В сюжетах загробного путешествия различных народов именно водная стихия играет первостепенную роль в «переправе» души умершего, или отделении от мира «живых» посредством памяти. Так, в Древней Греции реки выполняют различные функции в пространстве потустороннего мира, и, в соответствии с классификацией В. Н. Топорова (1980, с. 375), делятся на уничтожающие и воскрешающие память (Лета-Эвномия, Лета-Мнемозина). В русле данной интерпретации, корабль является не только средством передвижения из мира живых в загробное царство, но и средством прибытия из-за моря с островов Блаженных, что послужило причиной основания цивилизации (как, например, в мифологии островов Чеджу).

С тех пор как определение фронта было сформулировано Ф. Дж. Тернером, содержание понятия значительно расширилось и в настоящее время используется в широком спектре контекстов. В данной статье концепция фронта рассматривается с точки зрения пограничья символики Януса и Диоскуров, основывающейся на лиминальных качествах связанных с морем явлений, затрагивается вопрос границ их семантической наполненности. Кроме того, условия формирования двоичных божеств связаны с «границностью» Средиземноморского региона, в результате чего привлекается аспект территориального и культурного взаимодействия народов в развитии мифоритуальной системы.



ОБРЯД КАК ЧАСТЬ МИФО-РИТУАЛЬНОГО АСПЕКТА МОРЕПЛАВАНИЯ

Символика переходности явлений, связанных с кораблем и водной стихией, в условиях фактического мореплавания древности являлась главной предпосылкой для формирования тщательно разработанной системы обрядов.

Небезопасность плавания как предпосылка становления и развития символики морских божеств отмечается во многих исследованиях. Религиозные нужды в защите и покровительстве богов основывались на неподконтрольности погодных условий, непредсказуемости морской стихии в целом и соответствующей нехватки технических и практических знаний о море (Brody, 1999; Brody, 2008, p. 2; Christian, 2013, p. 181), что привело к ассоциации божеств с метеорологическими и небесными феноменами (Brody, 1999).

В странах средиземноморского бассейна тщательно разработанным является вопрос классификации морских божеств финикийской и ханаанской мифологий, в том числе в сравнении с греческой мифологией. Благодаря их территориальному соседству и взаимодействию через торговлю, четко прослеживаются параллели в морском пантеоне, несмотря на неродственность народов и их принадлежность к разным этнокультурным группам.

Многие аспекты морского пантеона четко прослеживаются благодаря ритуалу и обрядовой практике мореплавания. Место проведения обряда могло варьироваться и происходить как на борту самого корабля, так и на берегу, или в морских святилищах (Gambin, 2014, p. 5). Обустройство «священных мест» на корабле (Rich, 2012, p. 19) соседствует с концептом священности всего корабля, в том числе торгового судна, приравненного к наземным морским святилищам на берегу (Brody, 1999; Rich, 2012, p. 19). Включенность корабля в систему морских ритуалов привела к тому, что корабли (а также элементы ландшафта – гавани, острова, мысы) получали имена в честь богов-покровителей. Самым ярким примером данной разновидности ритуала является Серапис – спаситель потерпевших кораблекрушение и покровитель эллинизированных египетских и римских моряков (Brody, 2008; Fabre, 2004; Rougé, 1981); более раннее происхождение имеют хтонические боги Геракл и его финикийский эквивалент Мелькарт (Brody, 2008; Göttlicher, 1981; Morton, 2001; Semple, 1927).

Сакрализировался не только корабль как средство путешествия, каждый этап плавания сопровождался ритуальными действиями, в том числе жертвоприношениями, посвященными определенному кру-

гу божеств. Ритуалы, проводимые на борту корабля, традиционно можно разделить на три стадии, сопровождающие начало плавания (поднятие якоря и отплытие), само плавание и ритуалы, совершаемые по прибытию корабля. При этом свидетельства проводимых обрядов сохранились как на объектах материальной культуры, – например, Т. Гамбин приводит нанесение «священных имен» и молитв на керамические сосуды еврейских мореплавателей (Gambin, 2014, p. 5), – так встречаются и в античных текстах, в том числе у Пиндара и Гомера. Отплытие корабля у Пиндара сопровождается ритуальной магией: «А когда повис якорь над водорезом, – / То вождь на корме, / С чашей золотою в руках, / Воззвал к отцу небожителей Зевсу» (Пиндар, «Пифийские оды», IV). Вместе с тем, обращение к ритуальной магии – то есть влиянию речевых конструктов и фонетических конструкций (фоносемантический аспект) – нашло широкое применение и использовалось не только с целью защиты, но и с целью воздействия на вражеские корабли. Ярким примером является три эпитета финикийского бога шторма, выделенные А. Броуди (1998): Ba‘l Shamêm, Ba‘l Malagê и Ba‘l Zaphon, произносимые с целью вызвать ветер и волны, чтобы потопить тирские корабли. В греческой мифологии эквивалентом Баал-Цафона выступает Зевс Касиос и Зевс Сотер: среди находок – начертание его имени на якорях (Brody, 2008, p. 2).

Следующим типом обрядовой практики является предсказание погодных условий. В Финикии данную функцию выполняют Ашера (эпоха бронзы), а позже – Таннит – через их взаимосвязь с новой луной, их потенциал использовался для успешной навигации (Brody, 2002, p. 199). С точки зрения этимологии, переходный символизм Ашеры отражается в ее имени, которое состоит из глагола «идти», «перемещаться», «ступать» и составляет полную форму “rbt. `atrt ym” (“rabbatu athiratu yammi”) – «Леди Ашера, которая ступает по воде», или «Леди Ашера, которая перемещается по морю» (Rich, 2012, p. 19).

Вместе с тем, С. Рич (2013, pp. 100–101) выводит более древний слой символизма составляющих ночного неба и атмосферных «холодных» элементов (звезды, луна, воздух, ветер) как предпосылку для формирования связи Ашеры с морем. Вследствие этого, актуален вопрос осуществления ночного мореплавания в древности, в связи с существованием которого в настоящее время развиваются две противоположные точки зрения. На основе «Одиссеи» Гомера С. МакГрейл рассмотрел такие возможности в технических и неинструментальных аспектах, продемонстрировав наличие у средиземноморских мореплавателей навигационных методов для безопасного достижения пунктов назначения, знание пространственных отношений отдаленных земель,



намеренно использовавшиеся для плавания в открытом море в ночное время суток (McGrail, 1996). Данную точку зрения также поддерживает Д. Дэвис, который аргументировал наличие соответствующих знаний и ориентации по звездам и небесным явлениям ночью, а днем – по положению солнца и господствующим ветрам (Davis, 2002, pp. 291, 298, 300). Активно развивающаяся система навигации предполагает отражение связанных явлений в материальной культуре.

Среди многочисленных находок на местах кораблекрушений – бронзовые фигурки Диоскуров (г. Хайфа). Фигурки практически идентично отображают друг друга: один опирается на правую ногу, левая – слегка согнута, в то время как другой опирается на левую ногу, сгибая правую; расположение рук также находится в зеркальной проекции, а звезды на их головах определяют их как Диоскуров (Galili, Rosen, 2015, p. 46-47, fig. 13c).

БОГИ-БЛИЗНЕЦЫ В СВЕТЕ МОРСКОГО СИМВОЛИЗМА

Необходимость полагаться на ориентиры ночного неба в морской навигации способствовала мифологизации звезд, созвездий и сопутствующих явлений окружающей среды. Тесно связанными с мореплаванием являются т.н. небесные близнецы, чей символизм представляет собой наложение мотивов, которые дифференцируются в зависимости от культуры.

С точки зрения обрядности, они известны как божества-защитники мореплавателей; с точки зрения мифологии истоки их символизма прослеживаются в ряде астральных явлений. В индоевропейской традиции небесные близнецы иногда идентифицируются как две звезды созвездия Близнецов или ассоциируются с вечерней и утренней звездой, которая является предвестником избавления от тьмы (MacDonell, 1897, p. 53-54; Тахо-Годи, 1980, стр. 383). Именно исходя из астральной символики Ашвины характеризуются в Ведах: один зовется «сыном ночи», другой – «сыном рассвета» (MacDonell, 1897, p. 49). В греко-римской мифологии символизм Кастора и Поллукса как покровителей моряков в отдельных исследованиях выводится из функций контроля Диоскуров над благоприятными ветрами (Brody, 2008, p. 2; Rougé, 1981). Дальнейшее развитие мифологических сюжетов, связанных с уподоблением Диоскуров двум звездам, подтверждает их отождествление с огнями св. Эльма. Данный символизм огоньков на мачтах был установлен Еврипидом и закрепился со времен поздней античности (Köhne, 1998; Николаев, 2012, стр. 125-126). Отсюда, очевидно, сформировалась связь Диоскуров со священ-

ным огнем (Ward, 1968, p. 86; Голан, 1994, стр. 134). Первый огонь зажгли два брата или близнецы не только в древнегерманской мифологии (Huth, 1932, pp. 76, 85), но и в неиндоевропейском тасманийском мифе, где огонь добыли для людей двое юношей, которым огонь с неба сбросили «наши отцы», после чего эти юноши превратились в две звезды (Голан, 1994, стр. 134). Соответственно, первый уровень интерпретации Диоскуров заключается в осмыслении явлений, связанных с ночным мореплаванием, как следствие навигации по звездному небу, который, однако, представляет не единственный слой их символизма.

В индоевропейской мифологии близнецы, в первую очередь, вплетены в солярный миф и обладают морскими и солнечно-лошадиными чертами (Gotō, 2006; Kristiansen, 2008; Shapiro, 1982; Ward, 1968; West, 2007; Николаев, 2012). Летнее и зимнее солнцестояния в древнегерманских ритуалах были связаны с образом Близнецов (Huth, 1932, p. 82; Голан, 1994); в то же время распространен мотив Скандинавского наскального искусства – корабли-близнецы с лошадиными головами, которые несут солнце через море нижнего мира (Kristiansen, 2010; Kristiansen, 2011, p. 248). Солярный миф в случае божественных близнецов перерастает в мотив поиска и спасения исчезающего в море солнечного света (Gotō, 2006, p. 263; MacDonell, 1897, p. 51; Yamada, 2013, p. 69) и затем трансформируется в функцию Ашвинов-Диоскуров как спасителей и покровителей моряков. Будучи неотъемлемой частью морского мотива, с греческими Диоскурами связан теоним $\sigma\omega\tau\eta\rho\epsilon\varsigma$ (Николаев, 2012, стр. 123, 127-128), а с Ашвинами – $Násatyā$ (Güntert, 1923; MacDonell, 1897, p. 49; Thieme, 1960; West, 2007, p. 187; Николаев, 2012, стр. 128). Вплетение близнецов в солярный миф в роли спасителей существовало параллельно с мифологизацией звездного неба – с их функцией ориентиров для моряков, объединяя таким образом феномены пограничного состояния и ночного времени суток как наиболее небезопасного периода.

Вместе с тем, в культе небесных близнецов прослеживаются диахронические черты, как демонстрируя рудиментарные характеристики, так обретая и новые аспекты символизма. Из гимна RV 1.30.19, посвященного Ашвинам: «На голове быка / Вы удерживали колесо колесницы. / Другое катится вокруг неба» – становится ясной их функция принадлежности к двухчастности мира на основе дихотомии небо-земля, истоки которой, как известно, лежат в неолитическом культе земли (в том числе – бык как символ земли). Образ колесницы (изобретение эпохи бронзы и солярный символ) свидетельствует не только о более позднем генезисе мифа, но и о динамическом характе-



ре мотива близнецов, исходящем из их вплетения в структуру Оси верх-низ. Развитие символики двоичности солярного божества – и, следовательно, Ашвинов-Диоскуров как репрезентанта солярности, – происходило в эпоху бронзы в связи с изменением мировоззренческой парадигмы: с переходом от земледельческого культа эпохи неолита к мифу об умирающем и воскресающем солнце как господствующему мотиву в космологической картине мира эпохи бронзы. Вследствие этого, их дуализм обретает форму мифопоэтического осмысления мотива двух солнц: верхнего и нижнего мира.

Меняющиеся социальные условия привели к дальнейшему развитию близнечного мотива, и к солярной символике одного из братьев добавляется функция воина (Kristiansen, 2011, p. 248; West, 2007, p. 187). В этой модели, один близнец склонен к воинственным, динамичным качествам, в то время как другой – пассивный и статичный (Ward, 1968; Davidson, 1994, p. 142). Следовательно, отталкиваясь от первоначальных астральных качеств, символизм Диоскуров обретает новый семантический слой: антитеза братьев строится на иной оси характеристик – новых социальных ориентирах, способствуя началу осмысления социума. С точки зрения археологических свидетельств, К. Кристиансен (2011, p. 248 ff.) доказал широкую распространенность культа Диоскуров-воинов среди индоевропейских народов, отличительной чертой которого является парность захоронения оружия и других предметов вместе с использованием в ритуале креста как символа солнца и обращением к символизму лошадиных голов в погребениях эпохи бронзы.

Данный мотив можно рассматривать как развитие сюжета солярного путешествия: несмотря на прочную ассоциацию с конем как солярным символом, который сформировался в эпоху бронзы, Ашвины-Диоскуры не являются воплощением солнца, но через его спасение тесно связаны с путешествием солнца по двум мирам. Из разделения двух сюжетов следует, что если солнечный миф, который лежит в основе близнечного, появился на основе наблюдений за окружающей средой, то миф об Ашвинах-Диоскурах обрастает деталями на основе опыта мореплавания, учитывая их расположение между верхним и нижним (или срединным – в зависимости от концепции) миром *Axis Mundi*, людьми и богами.

Интерпретируя миф о Фаэтоне, Г. Нэйджи эксплицирует роль погибающего Фаэтона как смертной ипостаси солнца, которое в сущности бессмертно и умереть не может (Nagy, 1990, p. 223). Данная модель применима и к мифу об Ашвинах, где также реализуется посту-

лат бессмертия солнца, но уже по иной схеме. Здесь Бхуджью – смертный, затерянный среди океана (с чертами нижнего мира), а солнце – бессмертно, но тем не менее каждый день уходит в загробный мир. Ашвины, сыновья неба – также могут интерпретироваться как бессмертная ипостась солнца, на основе которой и выводится их роль. Следовательно, их символизм вплетается в солярный мотив на основе корреляции нижнего и верхнего мира оси Axis Mundi, смертности и бессмертия, из которой исходят их свойства покровителей мореплавателей.

В случае греко-римской мифологии смертность одного из близнецов подчеркивает роль Диоскуров как посредников между верхним миром и людьми, происходящей из их роли спасителей умирающего солнца. Именно это качество приближает их к солнечной полярности.

ДВУЛИКИЙ БОГ В СВЕТЕ МОРСКОГО СИМВОЛИЗМА

Диоскуры относятся к двоичным божествам. В связи с семантикой моря как стихии, воплощающей переходное состояние, морской пантеон включает ряд двоичных богов. Тем не менее, дуальность в мифологии проявляет разную природу, не связанную с морской символикой. Исходя из множества двойных богов – «свидетельства этого дают палеолит, мезолит, неолит, эпоха бронзы» (Голан, 1994, стр. 140, рис. 295:1-4), или пар богов, сознание во все времена стремилось осмыслять мир в делении, и это упорядочивание мира обретало разную природу в зависимости от этнокультурной направленности и типа представлений, господствующих в обществе. Классификация дуальных божеств индоевропейских культур нашла широкое отражение в исследованиях и сформулирована в публикации Дж. Гонда в форме ряда дихотомий (на основе ведийской мифологии), где кроме близнецных божеств Ашвинов представлены – Небо-и-Земля, Солнце-и-Луна, День-и-Ночь (Gonda, 1973). Из приведенных пар морской символизм, в первую очередь, связывается с Ашвинами (в Ведах) или Диоскурами (в греко-римской мифологии).

В корабельно-морской символике двоичность как воплощение пограничного состояния реализуется также в двуликости божества. Данная мифологема универсальна, и в неиндоевропейской древнеегипетской мифологии второе лицо обретает загробный паромщик, перевозящий души умерших. Р. Ахмед, в результате анализа имен, под которыми он упоминается, обосновывает его двуликость: божественный паромщик известен как Hr.f-hA.f «Тот, чье лицо сзади», МАА-НА.f «Чей взгляд за ним» и под другими именами (Ahmed, 2006, p. 128); он также упоминается иносказательно, а не по имени: Hr.f-hA.f, так как у



него два лица – впереди и сзади шеи (Ahmed, 2016, p. 140; Hornung, 1968, pp. 38-39; Lacaу, 1970, p. 35). Херуифи – объединение богов антагонистов Сета и Гора – относится к паре небо-земля, также как и к солярному мотиву. Несомненна солнечная ипостась в символизме Гора, бога неба, представляющего верхний мир, и Сета, сына богов неба и земли, побеждающего Апопа в нижнем мире, то есть участвующем в мотиве спасения солнца от хтонического чудовища в его ночном путешествии. В связи с этим символично, что Сет покровительствовал путешественникам, а именно через перенос качеств пути солнца на уровень нижнего мира оси.

Если в Древнем Египте двуликость раскрывается в классическом мифе о загробном паромщике, то римский Янус представляет символику перехода в ином аспекте. Янус, как и Диоскуры, являясь солярным божеством индоевропейской мифологии, также воплощает аспект двоичности – через свой внешний облик божества с двумя ликами.

Римский Янус, подобно Диоскурам – покровитель мореплавания, однако, в отличие от божественных близнецов, не участвует в мотиве спасения солнца из моря. Будучи божеством новых начинаний, он в первую очередь символически воплощал функции хранителя дверных проемов и ворот (Holland, 1961; Frazer, 1929). Его относят и к божествам неба – до Юпитера (Овидий), и солнца – с ним отождествляли Сола. По Овидию, Янус связан с восходом солнца, утром отпирая солнечные ворота, а вечером запирая их, из чего следует его солярный аспект, закрепившийся в римской мифологии. На самых древних изображениях его лица – белое и черное (Franz, 1966), что сравнимо с дуальностью солнца в солярных мифах.

Солярные боги во многих случаях были связаны с морем или покровительствовали мореходству: так, Гелиос зовется «правителем моря» (Rachoumi, 2015, p. 403). В связи с Янусом, можно отметить двоякую интерпретацию происхождения его взаимосвязи с морем. Л. А. Холланд указывает на то, что Янус был наделен свойствами перехода потоков, и благодаря этой силе он обладал некоторыми чертами божества воды (Holland, 1961). С другой стороны, его семантика основывается на мотиве путешествия солнца, ночной путь которого проходит по водам загробного мира. Янус соотносился с судном, олицетворявшим движение солнца на запад (Голан, 1994, стр. 137). Тем не менее, по мнению Р. Тейлор, Янус был воплощением скорее границы, чем перехода, он не был странствующим богом (Taylor, 2000, p. 1), что является его отличительной чертой в сравнении с близнецами.

Как и Диоскуры, Янус считался покровителем не только мореходов, но путников и воинов (Голан, 1994, стр. 137), и в дальнейшем его символизм обрастал парами дихотомии в более широком диапазоне. Так, Янус подразумевает полярность рождения-смерти, лета-зимы, огня-воды, входа-выхода (Huth, 1932). Если, в случае близнецов, происходит деление на два царства – они странствуют и по верхнему, и по нижнему миру, то Янус контролирует оба мира с акцентом на своем стационарном состоянии – два его лика обращены в пространстве (стороны света) и времени (прошлое и будущее).

Янус считается богом года (Huth, 1932, р. 40-44), ему были посвящены 12 алтарей в Риме (Голан, 1994, стр. 137). Рассматривая вопрос первичности пространства и времени в символизме Януса, А. Голан (1994, стр. 134) выводит его происхождение, как и божественных близнецов, от неолитического бога земли, заключавший в себе двоичность неба-земли. Очевидно, феномен четырехликости бога развивается именно исходя из пространственно-временного символизма. В некоторых случаях Янус – четырехликий (Иванов, Топоров, 1965, стр. 34); лежащие в основе формирования его образа этрусский Кульсанс и итальянский Ани также были четырехликими (Голан, 1994, стр. 137). В отношении божественных близнецов увеличение числа братьев можно наблюдать в балтийской мифологии – *Dievo suneliai* в Литве и *Dieva deli* в Латвии: в LD 33766 и 34023 (Jonval nos. 413 и 102) их двое, но в других песнях их четверо или пятеро, или только один (West, 2007, р. 189). Следовательно, в случае двух выделенных типов божеств (Януса и Диоскуров) происходит наложение функций в процессе развития их семантики, исходящей из первоначальной пространственной концептуализации эпохи неолита, к которой в эпоху бронзы с распространением солярного мифа добавляется временной символизм вместе с выраженной защитной функцией божеств.

Разделение пространственно-временного символизма и защитной функции наблюдается в балто-славянском Поренуте, четыре лика которого обращены в пространстве, а пятое лицо, обращенное вниз, отвечает за покровительство мореходов (вместе с его солярным аспектом). В его образе более четко продемонстрировано деление мира на верхний и нижний в рамках концепта *Axis Mundi* – через его функцию охранения от опасностей глубин, то есть опасностей нижнего мира, приближаясь, таким образом, к спасительным функциям Диоскуров-Ашвинов.

Поренут и Янус – не только боги мореплавания с солярными чертами, но и боги дорог, что является прямой отсылкой к пространственным факторам. Янус, кроме того, будучи богом времени, стано-



вится частью дихотомии порядок-хаос, или время-хаос, в том числе через множественность его лиц, а также через морскую стихию как родственную первичному океану – хаосу. Несмотря на то, что с точки зрения этимологии нет единой точки зрения на происхождение Януса, стоит выделить предположение Ж. Капдевилль (1973), который вывел его имя от лексемы *hiatus* – хаос; тем не менее, многие интерпретации имени Януса сводятся к его пороговым качествам. В данном контексте его функционально можно сравнить с финикийской Ашерой, чье имя основано на качествах перемещения, хождения по морю. Таким образом, если Ашвины-Диоскуры, странствуя в колеснице, выражают полярность оси, то божества типа Януса символизируют переходные качества и порог в путешествии солнца в свете спасительных функций солярно-морского сюжета.

ВЫВОДЫ

В свете развитой системы обрядности, сопутствующей мореплаванию древности, в индоевропейской мифо-ритуальной системе выделяется ряд двоичных божеств, символизм которых происходит из концептуализации астральных феноменов. Небесные близнецы и двуликий бог Янус обретают бинарность своего символизма за счет вхождения в мотив путешествия солнца по верхнему и нижнему миру, вместе с тем семантическая нагрузка двух рассматриваемых типов божеств фокусируется, в первую очередь, на переходном состоянии, когда требуется защита. Диоскуры-Ашвины не столько спасают солнце из нижнего мира (так как солнце бессмертно), сколько обеспечивают безопасность перехода: пограничное состояние опасно не менее, чем нижний мир. И если Диоскуры выступают стражами границы ввиду полярности, а также с учетом динамики соответствующего мифа (они разделены и могут путешествовать по мирам *Axis Mundi*), то Янус выполняет идентичную функцию, но с точки зрения своего стационарного статуса – он «разрешает» солнцу проход. Он концентрирует в себе свойства «пересечения» пространства-времени, из которого следует четырех-, пятиликость божеств данного типа.

Солярный сюжет, соответственно, разворачивается и на другом уровне: Янус и Диоскуры мифопоэтизируются как покровители тех, кто находится в пограничном состоянии, то есть путешественников и мореплавателей. С корабельной символикой развитие астральных мифов связывается в двух аспектах: через взаимосвязь с морем – воплощением нижнего мира, и через корабль как средство перехода, что наиболее четко проявляется в двуликости древнеегипетского паромщика.

Список литературы

- Ahmed, R. (2016). The Celestial ferryman in Ancient Egyptian religion "Sailor of the Dead". *Journal of The General Union OF Arab Archaeologists*, (1), 126-165.
- Brody, A. J. (1998). *Each man cried out to His God: The Specialized Religion of Canaanite and Phoenician Seafarers*. Atlanta, GA: Scholars Press.
- Brody, A. J. (2002). The patron deities of Canaanite and Phoenician seafarers. In Harry Tzalas (ed.) *Tropis VII: 7th International Symposium on Ship Construction in Antiquity: Pylos, 26, 27, 28, 29 August 1999: proceedings* (pp. 189-210)
- Brody, A. J. (2008). The specialized religions of Ancient Mediterranean seafarers. *Religion Compass*, 2(4), 1-11.
- Capdeville, G. (1973). Les épithètes cultuels de Janus. *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 85(2), 395-436. (In French)
- Christian, M. A. (2013). Phoenician maritime religion: sailors, Goddess worship, and the Grotta Regina. *Die Welt des Orients*, 43 (2), 179-205.
- Davidson, O. M. (1994). *Poet and hero in the Persian Book of Kings*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Davis, D. (2002). Maritime space and night-time sailing in the ancient Eastern Mediterranean. In Harry Tzalas (ed.) *Tropis VII: 7th International Symposium on Ship Construction in Antiquity: Pylos, 26, 27, 28, 29 August 1999: proceedings* (pp. 291-310).
- Fabre, D. (2004). *Seafaring in Ancient Egypt*. London: Periplus.
- Franz, L. (1966). Das Zeichen des heiligen Rindes. *Archaeologia Austriaca*, (40), 99-112.
- Frazer, G. (1929). *The Fasti of Ovid*. London: MacMillan and Co.
- Galili, E., Rosen, B. (2015). Protecting the ancient mariners, cultic artifacts from the holy land seas. *Archaeologia Maritima Mediterranea. An International Journal on Underwater Archaeology*, (12), 35-101.
- Gambin, T. (2014). Maritime activity and the Divine: an overview of religious expression by Mediterranean seafarers, fishermen and travellers. In D. Agius, T. Gambin, A. Trakadas (eds). *Ships, Saints and Sealore: Cultural Heritage and Ethnography of the Mediterranean and the Red Sea* (pp. 3-12). Oxford: Archaeopress. .
- Gotō, T. (2006). Ásvín and Násatya in the R̥gveda and their prehistorical background. In T. Osada, N. Hase (eds.) *Proceedings of the Pre-Symposium of RHIN and 7th ESCA Harvard-Kyoto Roundtable*. (pp. 253-283).
- Göttlicher, A (1981). *Nautische Attribute römischer Gottheiten*. PhD Thesis. Bremen.
- Güntert, H. (1923). *Der arische Weltkönig und Heiland*. Halle: Verlag von Max Niemeyer. (In German)
- Holland, L. A. (1961). *Janus and the Bridge Rome*. Rome: American Academy in Rome.



- Hornung, E. (1968). *Altägyptische Höllenvorstellungen*. Berlin: Akademie-Verlage. (In German)
- Huth, O. (1932). *Janus*. Bonn: Röhrscheid.
- Köhne, E. (1998). *Die Dioskuren in der griechischen Kunst von der Archaik bis zum Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr.* Hamburg: Verlag Dr. Kovač. (In German)
- Kristiansen, K. (2011). Bridging India and Scandinavia: institutional transmission and elite conquest during the Bronze Age. In: *Interweaving Worlds. Systemic Interactions in Eurasia, 7th to 1st Millennia BC* (pp. 243-265). Oxford: Oxbow Books.
- Kristiansen, K. (2008). From memory to monument: the construction of time in the Bronze Age. In Anne Lehoërf, (ed.). *Construire le temps. Histoire et méthodes des chronologies et calendriers des derniers millénaires avant notre ère en Europe occidentale* (pp. 41-50). Actes du XXXe colloque international de Halma-Ipel, UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC), 7–9 décembre 2006, Lille. Glux-en-Glenne: Bibracte..
- Kristiansen, K. (2010). Rock art and religion: the journey of the Sun. In Å. Fredell, F. Criado and K. Kristiansen (eds.) *Representations and Communications: Creating an Archaeological Matrix of Late Prehistoric Rock Art* (pp. 93-115). Oxford: Oxbow.
- Lacau, M. (1970). *Les nomes des parties du corps en Égyptien et en Sémitique*. Paris: Impr. nationale. (In French)
- MacDonell, A. A. (1897). *Vedic mythology*. Strassburg: K. J. Trübner.
- McGrail, S. (1996). Navigational techniques in Homer's Odyssey. *Tropis*, (4), 311-320.
- Morton, J. (2001). *The role of the Physical environment in Ancient Greek seafaring*. Leiden: Brill.
- Nagy, G. (1990). *Greek mythology and poetics*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Pachoumi, E. (2015). The religious and philosophical assimilations of Helios in the Greek magical papyri. *Greek, Roman and Byzantine Studies*, (55), 391-413.
- Rich, S. (2012). She who treads on water: religious metaphor in seafaring Phoenicia. *Journal of Ancient West & East*, (11), 19-34.
- Rich, S. (2013). *Ship timber as symbol? Dendro-provenancing & contextualizing ancient cedar ship remains from the Eastern Mediterranean / Near East*. PhD thesis. Leuven.
- Rougé, J. (1981). *Ships and fleets of the Ancient Mediterranean*. Middletown, CT: University Press.
- Semple, E. C. (1927). The templed promontories of the Ancient Mediterranean. *The Geographical Review*, 17 (3), 353-86.
- Shapiro, M. (1982). Neglected evidence of Dioscurism (divine twinning) in the Old Slavic pantheon. *Journal of Indo-European Studies*, (10), 137-166.

- Taylor, R. (2000). Watching the skies: Janus, auspication, and the shrine in the Roman forum. *Memoirs of the American Academy in Rome*, (45), 1-40.
- Thieme, P. (1960). The Aryan Gods' of the Mitanni treaties. *Journal of the American Oriental Society*, (80), 301-317.
- Wachsmann, S. (1998). *Seagoing ships in the Bronze Age Levant & seamanship*. Texas: ADM University Press, London: Chatham Publishing.
- Ward, D. (1968). *The Divine Twins: An Indo-European myth in Germanic tradition*. Berkeley: University of California Press.
- West, M. L. (2007). *Indo-European poetry and myth*. Oxford: Oxford University Press.
- Yamada, T. (2013). Rasa in Vedic Literature: A Philological Study on a Mythological River. 待兼山論叢. 哲学篇 [Dai Jianshan Review. Philosophy], (47), 67-82.
- Голан, А. (1994). *Миф и символ*. М.-Иерусалим: Тарбут, Русслит.
- Иванов, Вяч. Вс. & Топоров, В. Н. (1965). *Славянские языковые моделирующие системы*. М.: Наука.
- Николаев, А. С. (2012). «Гимн Диоскурам» Алкея. *Аристей*, V, 114-140.
- Тахо-Годи, А. А. (1980). Диоскуры. В С. А. Токарев (ред.). *Мифы народов мира* (т. 1) (стр. 382-384). М.: Советская Энциклопедия.
- Топоров, В. Н. (1980). Река. В С. А. Токарев (ред.). *Мифы народов мира* (т. 2) (стр. 374-376). М.: Советская Энциклопедия.

References

- Ahmed, R. (2016). The Celestial ferryman in ancient Egyptian religion "Sailor of the Dead". *Journal of The General Union OF Arab Archaeologists*, (1), 126-165.
- Brody, A. J. (1998). *Each man cried out to His God: The Specialized Religion of Canaanite and Phoenician Seafarers*. Atlanta, GA: Scholars Press.
- Brody, A. J. (2002). The patron deities of Canaanite and Phoenician seafarers. *Tropis VII: 7th International Symposium on Ship Construction in Antiquity: Pylos, 26, 27, 28, 29 August 1999: proceedings* /edited by Harry Tzalas, 189-210.
- Brody, A. J. (2008). The specialized religions of ancient Mediterranean seafarers. *Religion Compass*, 2 (4), 1-11.
- Capdeville, G. (1973). The cult epithets of Janus. *Selection of the French School in Rome. Antiquity*, 85 (2), 395-436. (in French)
- Christian, M. A. (2013). Phoenician maritime religion: Sailors, Goddess worship, and the Grotta Regina. *Die Welt des Orients*, 43 (2), 179-205.
- Davidson, O. M. (1994). *Poet and Hero in the Persian book of Kings*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Davis, D. (2002). Maritime space and night-time sailing in the ancient Eastern Mediterranean. In Harry Tzalas (ed.) *Tropis VII: 7th International Symposium on Ship Construction in Antiquity: Pylos, 26, 27, 28, 29 August 1999: proceedings* (pp. 291-310).



- Fabre, D. (2004). *Seafaring in Ancient Egypt*. London: Periplus.
- Franz, L. (1966). Das Zeichen des heiligen Rindes. *Archaeologia Austriaca*, (40), 99-112.
- Frazer, G. (1929). *The Fasti of Ovid*. London: MacMillan and Co.
- Galili, E., Rosen, B. (2015). Protecting the ancient mariners, cultic artifacts from the holy land seas. *Archaeologia Maritima Mediterranea. An International Journal on Underwater Archaeology*, (12), 35-101.
- Gambin, T. (2014). Maritime activity and the Divine: an overview of religious expression by Mediterranean seafarers, fishermen and travellers. In D. Agius, T. Gambin, A. Trakadas (eds). *Ships, Saints and Sealore: Cultural Heritage and Ethnography of the Mediterranean and the Red Sea* (pp. 3-12). Oxford: Archaeopress.
- Golan, A. *Myth and symbol*. Moscow-Jerusalem: Tarbut, Russlit. (In Russian)
- Gotō, T. (2006). Ásvín and Násatya in the Ṛgveda and their prehistorical background. In T. Osada, N. Hase (eds.) *Proceedings of the Pre-Symposium of RHIN and 7th ESCA Harvard-Kyoto Roundtable*. (pp. 253-283).
- Göttlicher, A (1981). *Nautical attributes of Roman deities*. PhD Thesis. Bremen. (in German).
- Güntert, H. (1923). *The Aryan king of the world and savior*. Halle: Max Niemeyer publishing house.
- Holland, L. A. (1961). *Janus and the Bridge Rome*. Rome: American Academy in Rome.
- Hornung, E. (1968). *Ancient Egyptian ideas of the lower world*. Berlin: Academy publishing house. (in German).
- Huth, O. (1932). *Janus*. Bonn: Röhrscheid.
- Ivanov, Vyach. Vs., Toporov, V. N. (1965). *Slavic language modeling systems*. Moscow: Science. (In Russian) (In Russian)
- Köhne, E. (1998). *Dioscuri in Greek Art from Archaic times to the end of the 5th century BC*. Hamburg: Dr. Kovač publishing house. (in German).
- Kristiansen, K. (2011). Bridging India and Scandinavia: institutional transmission and elite conquest during the Bronze Age. In: *Interweaving Worlds. Systemic Interactions in Eurasia, 7th to 1st Millennia BC* (pp. 243-265). Oxford: Oxbow Books.
- Kristiansen, K. (2008). From memory to monument: the construction of time in the Bronze Age. In Anne Lehoërff, (ed.). *Construire le temps. Histoire et méthodes des chronologies et calendriers des derniers millénaires avant notre ère en Europe occidentale* (pp. 41-50). Actes du XXXe colloque international de Halma-Ipel, UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC), 7–9 décembre 2006, Lille. Glux-en-Glenne: Bibracte..
- Kristiansen, K. (2010). Rock art and religion: the journey of the Sun. In Å. Fredell, F. Criado and K. Kristiansen (eds.) *Representations and Communications: Creat-*

- ing an Archaeological Matrix of Late Prehistoric Rock Art (pp. 93-115). Oxford: Oxbow.
- Lacau, M. (1970). *The Names of the parts of the body in Egyptian and in Semitic*. Paris: Impr. National. (in French).
- MacDonell, A. A. (1897). *Vedic mythology*. Strassburg: K. J. Trübner.
- McGrail, S. (1996). Navigational techniques in Homer's Odyssey. *Tropis*, (4), 311-320.
- Morton, J. (2001). *The Role of the physical environment in ancient Greek seafaring*. Leiden: Brill.
- Nagy, G. (1990). *Greek mythology and poetics*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Nikolaev, A. S. (2012). "Hymn to the Dioscuri" Alcaeus. *Aristeas*, V, 114-140. (In Russian)
- Pachoumi, E. (2015). The Religious and philosophical assimilations of Helios in the Greek magical papyri. *Greek, Roman and Byzantine Studies*, (55), 391-413.
- Rich, S. (2012). She who treads on water: religious metaphor in seafaring Phoenicia. *Journal of Ancient West & East*, (11), 19-34.
- Rich, S. (2013). *Ship Timber as Symbol? Dendro-provenancing & contextualizing ancient cedar ship remains from the Eastern Mediterranean / Near East*. PhD thesis. Leuven.
- Rougé, J. (1981). *Ships and fleets of the Ancient Mediterranean*. Middletown, CT: University Press.
- Semple, E. C. (1927). The templed promontories of the ancient Mediterranean. *The Geographical Review*, 17 (3), 353-86.
- Shapiro, M. (1982). Neglected evidence of Dioscurism (divine twinning) in the Old Slavic pantheon. *Journal of Indo-European Studies*, (10), 137-166.
- Taho-Godi, A. A. (1980). Dioscuri. In S. A. Tokarev (Ed.). *Myths of the peoples of the world* (Vol. 1). Moscow: Soviet Encyclopedia. (pp. 382-384). (In Russian)
- Taylor, R. (2000). Watching the skies: Janus, auspication, and the shrine in the Roman Forum. *Memoirs of the American Academy in Rome*, (45), 1-40.
- Thieme, P. (1960). The Aryan Gods' of the Mitanni Treaties. *Journal of the American Oriental Society*, (80), 301-317.
- Toporov, V. N. (1980). River. In S. A. Tokarev (Ed.). *Myths of the peoples of the world* (Vol. 2) (pp. 374-376). Moscow: Soviet Encyclopedia. . (In Russian)
- Wachsmann, S. (1998). *Seagoing ships in the Bronze age Levant & seamanship*. Texas: ADM University Press, London: Chatham Publishing.
- Ward, D. (1968). *The Divine Twins: An Indo-European myth in Germanic tradition*. Berkeley: University of California Press.
- West, M. L. (2007). *Indo-European poetry and myth*. Oxford: Oxford University Press.
- Yamada, T. (2013). Rasa in Vedic literature: A philological study on a mythological river. *Treatises on the Mountains. Philosophy*, (47), 67-82.

Разное

Miscellaneous

THE AMERICAN STUDIES IN RUSSIA: EIGHT ANTHROPOLOGICAL FORUMS (1982–2018)

Edward G. Aleksandrenkov (a), Denis V. Vorobyev (b)

(a) Institute of Ethnology and Anthropology RAS. Moscow, Russia. Email: ed_alex[at]mail.ru

(b) Institute of Ethnology and Anthropology RAS. Moscow, Russia. Email: pakamagan[at]rambler.ru

Abstract

The paper describes the development of American Studies in Russia based on eight anthropological forums held from 1982 to 2018. On the initiative of Valery Tishkov (Head of the Department of America at the Institute of Ethnography, Academy of Sciences of the USSR), the First Soviet Symposium in Native American's Studies ("Indeanistika") was held at the Institute in Moscow in 1982. Other five symposia also dedicated to the Native Americans (1985, 1988, 1992, 1999, 2003) were held at the same institution (Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, since 1990). After a twelve-year break, the Seventh Symposium whose topic expanded to comprise the entire population of the Americas took place at the Institute of Ethnology and Anthropology in 2015. The Eighth American Symposium organized by the Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), Russian Academy of Sciences, was held in St. Petersburg in 2018. The number of participants and diversity of topics increased significantly compared to the previous symposia. Researchers from eight Russian cities, as well as from Mexico, the United States, Poland, Spain and Colombia presented their papers.

Keywords

Symposium; American Studies; Native American Studies; North America; South America; Institute of Ethnology and Anthropology RAS; Museum of Anthropology and Ethnography RAS; Native Americans; Ethnology; Anthropology



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ВОСЕМЬ ФОРУМОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНДЕАНИСТОВ И АМЕРИКАНИСТОВ (1982 – 2018)

Александренков Эдуард Григорьевич (а), Воробьев Денис Валерьевич (б)

(а) Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.
Москва, Россия. E-mail: ed_alex[at]mail.ru

(б) Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.
Москва, Россия. Email: pakamagan[at]rambler.ru

Аннотация

В обзоре содержится краткая информация о развитии индеанистики и американистики в России, главным образом, о восьми симпозиумах по этой тематике, проходивших с 1982 по 2018 годы. В 1982 г., по инициативе В.А. Тишкова, тогда руководителя Сектора народов Америки Института этнографии АН СССР, в Москве на базе института был проведен первый симпозиум индеанистов Советского Союза. Затем, в стенах того же института (с 1990 г. Институт этнологии и антропологии РАН) состоялось еще пять симпозиумов, также посвященных жизни коренных американцев (1985, 1988, 1992, 1999, 2003 годы). Далее наступил двенадцатилетний перерыв, и седьмой симпозиум, темой которого стало теперь уже всё население Америки, состоялся в ИЭА РАН в 2015 году. Восьмой американистский симпозиум прошел в Санкт-Петербурге в 2018 году. Основным его организатором выступил Музей антропологии и этнографии РАН (МАЭ Кунсткамера). Количество его участников по сравнению с предыдущими симпозиумами существенно увеличилось. Тематика стала значительно разнообразнее. Доклады сделали исследователи из восьми российских городов, а также из Мексики, США, Польши, Испании и Колумбии.

Ключевые слова

Симпозиум; американистика; индеанистика; Северная Америка; Южная Америка; Институт этнологии и антропологии РАН; Музей антропологии и этнографии РАН; индейцы; этнология; антропология



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Изучение этнографии Америки имеет в России солидные традиции. С начала XIX в. заметный вклад в него внесли люди, работавшие в российских владениях в Северной Америке, и те, что шли туда на кораблях вдоль берегов Южной Америки. Большой этнографический материал был накоплен также во время двух российских экспедиций в Южную Америку, XIX века во главе с Г. И. Лангсдорфом, и начала XX – под общим руководством Г.Г. Манизера. Накопленные тогда материалы, находящиеся преимущественно в Кунсткамере в Санкт-Петербурге, питали и продолжают питать этнографическую американистику, главным образом темы, имеющие отношение к аборигенам Америки.

В 1940-е гг. складывается еще один центр этнографических занятий Америкой, в Москве, где в 1943 г. начинает работать группа, а затем и Институт этнографии, в составе которого был создан сектор народов Америки, Австралии и Океании (позже был образован в самостоятельный Сектор народов Америки). В 1950-е годы совместными усилиями исследователей Москвы и Ленинграда завершается подготовка к публикации материалов о народах Америки, намеченной еще в довоенное время. Двухтомник «Народы Америки» вышел в 1959 г. и представил российскому читателю картину развития культуры народов Америки с древнейших времен до конца 1940-х гг.. Работы над двухтомником стали поворотом отечественных этнографов-американистов к изучению современности. Кроме того, в этнографию Америки было включено не только изучение коренных народов («индейцев»), как прежде, но и другого населения континентов. Тогда же, в 1950-е гг. Ю.В. Кнорозов разработал методы расшифровки письменности майя и применил их для прочтения текстов.

В 1960-1980-е гг. отечественные исследователи значительно углубили американистские исследования. В те годы интерес к зарубежной этнографии поддерживался государством в рамках геополитики - построения социализма в странах разных континентов и, соответственно, солидарности с народами колониальных и зависимых стран в борьбе за их самостоятельность. Росту интереса к Латинской Америке способствовали события на Кубе, противопоставившей себя гегемонии США на континенте. В начале 1960-х гг. Институт этнографии начал публикацию страноведческих сборников по Латинской Америке. Первой книгой подобного рода стала «Куба: историко-этнографические очерки», вышедшая в 1961 г. Сходные книги позже вышли о других странах.

Разнообразие изучаемых аспектов этнографии, антропологии и археологии Америки постоянно росло – древности и современные эт-



нические процессы в разных регионах, мировоззрение у древних аборигенов и семья современных жителей, город и традиционная культура сельского населения, так называемая Русская Америка и другие. Эти и сходные темы изучались как в рамках Института этнографии АН СССР (с отделами в Москве и Ленинграде), так и в других академических институтах или вузах и за пределами этих городов. Стала очевидной необходимость некоего объединения подобных усилий.

В 1982 г., по инициативе В.А. Тишкова, тогда руководителя Сектора народов Америки ИЭ АН СССР, в Москве в рамках ИЭ был проведен первый симпозиум индеанистов Советского Союза. Его целью было «выявить основные направления ведущихся в нашей стране исследований, обсудить новейшие научные результаты и наметить возможные перспективы для дальнейшей научной работы в этой области» (Введение, 1985, стр. 3). На этом симпозиуме выступали не только специалисты по этнографии аборигенов, но и антропологи, археологи, историки, языковеды и литературоведы. Встреча показала, что, при сохранении традиций изучения доколониальной эпохи и колониального периода, заметно возрос интерес к современным проблемам аборигенов. Темы докладов оказались самые разнообразные – от заселения Америки до современного индейского писателя США: темпы исторического процесса, типология древних государств, изображения на керамике майя как исторический источник, песнопения майя, миштекские рукописи, философские аспекты лирики мексиканского правителя, сюжеты мифологии, языковые проблемы в некоторых странах, экономическое положение аборигенов, их борьба за социальные права и др. Хлопотами по подготовке к печати трудов этого симпозиума, как и последовавших, занималась А.А. Бородатова. Работы симпозиума вышли в 1985 г. под названием «Исторические судьбы американских индейцев. Проблемы индеанистики» (Исторические судьбы, 1985).

Следующий симпозиум состоялся в 1985 г. (в Звенигороде) и был посвящен взаимодействию аборигенов с природной средой. Хотя центральная тема симпозиума была четко определена, основные направления представленных на него докладов остались прежними: заселение, этническая история Северной Америки, доколумбовы культуры Латинской; современное положение аборигенов разных стран. В то же время целая серия докладов была отведена связям духовной культуры и языка со средой. Появилась новая для американистов тема – соотношение музыкальной культуры и природной среды (Экология, 1988).

Третий симпозиум прошел в конце 1988 г., на нем рассматривались проблемы, вызванные открытием и колонизацией Америки евро-

пейцами. В опубликованной книге доклады на симпозиуме были представлены в трех разделах: «Индийско-европейские связи в ходе освоения континента», «Отражение межэтнических контактов в религии, фольклоре и языке», «Индийские общества: идеология и политика во второй половине XX в.». Взгляды на последствия завоевания Америки европейцами варьировали от оценки их как синтеза культур до полного отрицания положительной роли «контакта» для индийской стороны (Америка, 1992).

Четвертый симпозиум индеанистов был проведен в июне 1992 г., в год пятисотлетия плавания Колумба через Атлантику, в рамках конференции «Встреча двух миров в контексте глобальных процессов современности». Состав участников симпозиума сократился, правда, среди них появились иностранцы. Представленные доклады были зачитаны на следующих тематических заседаниях: «Древние культуры Америки», «Коренное население Северной Америки: аспекты этносоциального и этнокультурного развития», «Индийские культуры после конкисты», «Индийцы и современная цивилизация» (в последних двух речь шла об аборигенах Латинской Америки). Опубликованные работы были сгруппированы по-другому: «История, историография. Общие проблемы этнографии», «Мифология. Ритуал. Иконография» и «Изобразительное искусство. Коллекции, Путешествия» (Американские индейцы, 1996).

Пятый симпозиум индеанистов состоялся лишь в январе 1999 г. Он проходил под названием «Американские индейцы: перспектива и ретроспектива исследований». Там были доклады о спорных моментах во взглядах на формирование физического типа американских индейцев, о роли археологии Америки в изучении закономерностей древнейшей истории человечества. Целая группа докладов касалась коренных обитателей северной Америки: этнографические материалы по аборигенам Аляски, хранящихся в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере), различные аспекты политики российской колониальной администрации по отношению к коренным обитателям Калифорнии, методы определения численности аборигенов Северной Америки накануне завоевания ее европейцами, заговорно-заклинательные тексты сиу, пиктографические летописи степных индейцев Северной Америки, история религиозных культов индийских народов бассейна р. Колумбии, недавние социо-лингвистические исследования у атабасков Аляски, литература коренных обитателей Северной Америки.

Доклады по Латинской Америке включали анализ наскальных изображений одного из районов полуострова Калифорния, изучение эволюции символа «цветок и песня» в культуре древних народов Цен-



тральной Мексики, анализ социальной структура древних аймара, изложение концепций относительно индейской автономии. Несколько докладов было посвящено различным аспектам культуры древних майя: возможности систематизации их эпиграфического наследия, сравнительный анализа обществ майя Петена разных периодов, роль богини Луны в реинкарнационных представлениях, образы карлика в системе мировосприятия, семиотика игры в мяч, возможные связи между древними обитателями Мезоамерики и Антильских островов.

Примечательным событием пятого симпозиума было появление на нем целой группы молодых исследователей-мезоамериканистов, группировавшихся вокруг одной из учениц Ю.В. Кнорозова, Г.Г. Ершовой. До сих пор в Институте вспоминают энергичную молодежь, что передвигалась по коридорам из одной аудитории в другую.

Сборник трудов этого симпозиума был посвящен памяти Ю.В. Кнорозова, 80-летие которого отмечалось в том году, и получил название, отличное от названия симпозиума. Большая часть публикаций объемистого тома содержалась в разделе «Проблемы семиотики древних культур Латинской Америки» (стр. 23-387). Еще один раздел назывался «История и антропология аборигенных народов Америки» (стр. 388-451). Последний, третий раздел – «Русская Америка. Экспедиции. Коллекции» (стр. 452-555). Впервые опубликованные статьи имели резюме на английском языке (История, 2002).

Последний раз отечественные индеанисты собирались в Москве в 2003 г. Центральной темой VI Всероссийского симпозиума были заявлены властные отношения у коренного населения Нового Света. Труды были опубликованы в 2006 г. (Власть, 2006). Кроме зачитанных на симпозиуме докладов, напечатаны были статьи, специально написанные для сборника. Статьи были помещены в трех разделах: «Общества доколумбовой Америки» (12 статей), «Индейские мифологии» (5 статей), «Индейские общества Северной Америки в колониальный период» (8 статей). Вышедший том оказался самым большим из всех напечатанных, больше 40 авторских листов.

С начала 1990-х гг., геополитические цели руководства страны стали меняться; соответственно, изменилось отношение руководства Института этнографии к зарубежным исследованиям. Если в 1981 г. директор института «основным направлением научной деятельности советских этнографов» считал «историко-этнографическое изучение народов мира» (Бромлей, 1981, стр. 117), то через десять лет, в 1992 г., другой директор написал следующее: «Для советской этнологии как науки в принципе не имеет престижного значения глобальная география наших зарубежных отделов и их сотрудников». При этом была

высказана критика по поводу институтских зарубежных экспедиций в Индию, Вьетнам, Монголию и на Кубу (Тишков, 1992, стр. 11, 12). В рамках такого подхода сокращался штат сотрудников Сектора народов Америки Института этнографии в Москве, и в 2005 несколько оставшихся человек были переведены в новый Центр европейских и американских исследований Института этнологии и антропологии РАН.

Однако, в стране интерес к Америке (к ее древним культурам, да и современному населению) не только не упал, но и рос. Благодаря усилиям отдельных энергичных лиц, американистика развивалась в некоторых вузах, в частности, в Мезоамериканском центре имени Ю.В. Кнорозова РГГУ, а также на Кафедре древнего мира Исторического факультета МГУ. Укрепилось изучение древней Америки в Новосибирске, продолжал работать Отдел Америки Кунсткамеры в Санкт Петербурге. Отдельные исследователи появлялись вне названных учреждений, в других городах, с другими интересами. А. А. Матусовский, начиная с 2001 г., регулярно осуществлял экспедиции к аборигенам разных областей Амазонии, сообщая о них на своем сайте «Индейцы Амазонии». Были и другие сайты, в которых публиковались как популярные материалы, так и хроника научных событий, исследования и переводы, в частности, «Мир индейцев» и «Месоамерика». Стал функционировать семинар «Гайавата».

Американисты Института этнологии и антропологии РАН делали попытки созвать американистов в рамках нескольких Конгрессов этнологов и антропологов России. После очередной неудачи у них и их коллег (из Мезоамериканского Центра РГГУ и Кафедры древней истории Исторического факультета МГУ и не аффилированных исследователей) родилась идея самим организовать американистское собрание, где могли бы выступить не только специалисты, интересовавшиеся проблемами аборигенов, но и другие (антропологи, историки, языковеды). Было решено, что для первой за многие годы подобной встречи более других подходят темы источников изучения населения Америки и истории подобного изучения.

Оргкомитету пришлось провести большую предварительную работу по установлению или восстановлению связей с возможными участниками симпозиума. Среди откликнувшихся на предложение принять участие в мероприятии оказались как люди, давно избравшие американистику своей специальностью, так и начинающие исследователи; география заявок вышла за пределы Москвы и Петербурга. К сожалению, не все приглашенные, по разным причинам, приняли участие в симпозиуме. К началу заседаний симпозиума был опубликован



сборник тезисов докладов (с переводом на английский язык) с небольшими очерками об американистских исследованиях в ИЭА РАН, на Кафедре истории древнего мира Исторического факультета МГУ и в Мезоамериканском центре РГГУ (Источники и историография 2015).

Симпозиум состоялся 11-12 ноября 2015 г., заседания проходили в помещениях Института славяноведения РАН на Ленинском проспекте и в Шуваловском корпусе МГУ. Работа симпозиума была освещена в агентстве “Prensa Latina”.

Доклады увидели свет в 2017 г. (Источники и историография, 2017). Не все участники симпозиума смогли подготовить свои материалы для публикации. С другой стороны, в напечатанный том были включены несколько статей, авторы которых не участвовали в симпозиуме. Большая часть опубликованных статей имеет источниковедческое содержание. По Северной Америке это представление сообщений иезуитов колониального времени, путевых заметок И. Г. Вознесенского, материалов Русско-Американской Телеграфной Экспедиции 1865-1867 гг., изучение коллекций из Русской Америки в собраниях отечественных музеев, исторических преданий аборигенов, а также индейских договоров США. В работах о Южной Америке – описание керамики индейцев кальчаков в собрании МАЭ, статьи об источниках для изучения аборигенов (древних и колониального времени), наблюдения российских путешественников XIX и начала XX вв. Исследуемые источники по Мезоамерике – главным образом доевропейского времени и один – раннеколониального. Историографических статей заметно меньше, их совсем нет по Северной Америке. Представлена одна статья по физической антропологии (краниология древних обитателей Кубы).

Среди опубликованных материалов преобладают статьи, касающиеся частных вопросов. Лишь две – общие: об этническом измерении в изучении доколумбовых цивилизаций и о происхождении верховной власти у инков и ацтеков в отражении колониальных хроник. Опубликованные работы демонстрируют явное преобладание интересов к аборигенам Америки. При достаточно обширном знании отечественными исследователями разнообразных источников для изучения Америки очевидно малое число собственных полевых работ.

Следующий симпозиум отечественных американистов был проведен в Санкт-Петербурге 3-4 декабря 2018 г. При этом, по предложению В.А. Тишкова, был решено американистские симпозиумы включить в предыдущую цепь индеанистских, и новый симпозиум превра-

тился в VIII Международный американистский симпозиум (Слияние 2018).

Важно отметить значительно увеличившееся количество участников данного симпозиума по сравнению с предыдущими. Так, в Сборнике тезисов симпозиума 2015 г. насчитывается 44 аннотации докладов, тогда как сборник симпозиума 2018 г. содержит в себе 71 аннотацию. При этом количество авторов, не принявших очное участие в мероприятии, сводится к минимуму. Согласно А.В. Гриневу, в МАЭ собралось около шестидесяти специалистов (Гринев, 2019, стр. 181) Этот факт свидетельствует о том, что интерес к американистской проблематике у российских исследователей не идет на спад, а, напротив, возрастает. Еще одним тому свидетельством является увеличившийся диапазон регионов, откуда приехали или подали заявки участники. Так, в сборнике материалов конференции помимо Санкт-Петербурга и Москвы представлены доклады двух авторов из Краснодара (Слияние, стр. 8, 95), по одному докладчику было из Якутска, Нижнего Новгорода, Курска, Архангельска, Новосибирска, Брянска, Уфы, Краснодара (Слияние, стр. 10, 27, 36, 64, 70, 74, 83). Как видим, «география» участников по сравнению с предыдущими симпозиумами значительно расширилась.

Также обращает на себя внимание возросшее число зарубежных участников. Если на симпозиуме № 7 докладчиков из других государств не было вовсе, и только лишь присутствовали представители посольств ряда стран Латинской Америки и США, то на симпозиум № 8 было заявлено восемь иностранных участников: из Мексики – 2; США – 3, Польши – 1; Испании – 1, Колумбии – 1. Большинство докладов были сделаны по Skype, а польская участница смогла непосредственно присутствовать на симпозиуме. Итак, очевидная положительная динамика не вызывает сомнений.

Еще одним новшеством санкт-петербургского симпозиума стало разделение его, помимо пленарного заседания, на пять секций, которые вели работу в разных помещениях МАЭ РАН, – «Мобильность и миграции в Новом свете» с подсекцией «Традиционная иконография Америки»; «Статус и власть в обществах Нового Света»; «Америка после Колумба: взаимодействие двух миров» и «Наука об Америке, теории и методы» (Это, по сути, была одна секция, разделенная на две равноценных подсекции); «Современное население Америки». Секция «Этнокультурные и языковые контакты» была посвящена, главным образом, проблемам лингвистики, что явилось новшеством VIII Международного американистского симпозиума. На предыдущих индеевских и американистских конференциях лингвистическая про-



блематика была представлена весьма отрывочно. Такая градация оказалась необходимой в силу тематического разнообразия докладов.

Говоря о «региональной составляющей», представленной в сделанных докладах, остается лишь согласиться с утверждением А.В. Гринева, что речь о Латинской Америке шла в два раза чаще, нежели, чем об Америке Северной (Гринева, 2019, стр. 181). Полагаем, это во все не свидетельствует о каких-либо «перекосах» или «недоработках» в современной российской американистике, а представляет собой объективный факт превалирования исследовательских интересов.

Очень важным событием симпозиума 2018 г. стало основание Российской ассоциации антропологов-американистов. Предложение о ее создании было выдвинуто организаторами мероприятия на пленарном заседании и поддержано большинством остальных участников. Председателем ассоциации был избран д.и.н., профессор Высшей школы общественных наук Гуманитарного института СПбПУ А.В. Гринева, который в скором времени выступил с письмом-объявлением о создании Российской ассоциации антропологов-американистов и приглашением к коллегам вступать в ее ряды. В настоящий момент в ассоциации состоит более тридцати исследователей, занимающихся разнообразными проблемами американистики и индеанистики (<http://anthroamericas.ru/?p=340> дата обращения 08.01.2020). Данный шаг формирования Ассоциации представляется очень важным, поскольку он существенно облегчает координацию деятельности исследователей из разных регионов. Прежде общение и обмен мнениями между коллегами были весьма ограничены.

Следующий IX Международный американистский симпозиум «История Америки: человек, народы, культуры» состоится в Санкт-Петербурге 24-25 июня 2020 г.

Список литературы

- Бородатова, А. А. & Тишков, В. А. (ред.) (2002). *История и семиотика индейских культур Америки*. Москва: «Наука».
- Бородатова, А. А. & Тишков, В. А. (ред.) (2006). *Власть в аборигенной Америке*. Москва: Наука
- Бромлей, Ю. В. (1981). Основные направления послевоенных этнографических исследований в СССР. В Ю. В. Бромлей, *Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории)* (стр. 114-151). Москва: Наука
- Гринева, А. В. (2019). VIII Международный научный американистский симпозиум «Слияние двух миров: история, мобильность, статус жителей Нового Света до и после Колумба». *Клио*, (4), 180-183.

- Мартынова, М. Ю., Игнатъев, Р. Н. & Питерская, Е. С. (ред.) (2015). *Источники и историография по антропологии народов Америки. Москва, 11-12 ноября 2015 года. Тезисы докладов и материалы симпозиума*. Москва: ИЭА РАН.
- Мартынова, М. Ю., Питерская, Е. С. & Воробьев Д. В. (ред.) (2017). *Источники и историография по антропологии народов Америки*. Москва: ИЭА РАН.
- Слияние двух миров: история, мобильность, статус жителей Нового Света до и после Колумба. Санкт-Петербург, 3-4 декабря 2018 г. Тезисы докладов и материалы симпозиума*. (2018). Санкт-Петербург: МАЭ (Кунсткамера) РАН.
- Тишков, В. А. (1992). Советская этнография: преодоление кризиса. *Этнографическое обозрение*, (1), 5-20.
- Тишков, В. А. (ред.) (1985). Введение. В В. А. Тишков (ред.) *Исторические судьбы американских индейцев. Проблемы индеанистики* (стр. 3-9). Москва: Издательство «Наука».
- Тишков, В. А. (ред.) (1985). *Исторические судьбы американских индейцев. Проблемы индеанистики*. Москва: Издательство «Наука»
- Тишков, В. А. (ред.) (1988). *Экология американских индейцев и эскимосов. Проблемы индеанистики*. Москва: «Наука».
- Тишков, В. А. (ред.) (1992). *Америка после Колумба: взаимодействие двух миров. Проблемы индеанистики*. Москва: Наука.
- Тишков, В. А. (ред.) (1996). *Американские индейцы: Новые факты и интерпретации. Проблемы индеанистики*. Москва: Наука.

References

- Borodatova, A. A. & Tishkov, V. A. (Eds.) (2002). *History and semiotics of American Indian cultures*. Moscow: «Science». (In Russian)
- Borodatova, A. A. & Tishkov, V. A. (Eds.) (2006). *Power in Aboriginal America*. Moscow: «Science». (In Russian)
- Bromley, Yu. V. (1981). The main directions of post-war ethnographic research in the USSR. In Yu. V. Bromley, *Contemporary problems of ethnography (essays on theory and history)* (pp. 114-151). Moscow: «Science». (In Russian)
- Grinev, A. V. (2019). VIII International scientific symposium of americanists «Merging the two worlds: the history, mobility, status of inhabitants of the New World before and after Columbus». *Klio*, (4), 180-183. (In Russian)
- Martynova, M. Yu., Ignatiev, R. N. & Piterskaya, E. S. (Eds.) (2015). *Sources and historiography on the anthropology of the peoples of America. Moscow, November 11-12, 2015. Abstracts and materials of the symposium*. Moscow: IEA RAS. (In Russian)
- Martynova, M. Yu., Piterskaya, E. S. & Vorobyov D. V. (Eds.) (2017). *Sources and historiography on the anthropology of the peoples of America*. Moscow: IEA RAS.



- Merging of two worlds: history, mobility, status of the inhabitants of the New World before and after Columbus. St. Petersburg, 3-4 December 2018 Abstracts and materials of the symposium.* (2018). St. Petersburg: MAE (Kunstkamera) RAS. (In Russian)
- Tishkov, V. A. (1992). Soviet Ethnography: Overcoming the Crisis. *Ethnographic review*, (1), 5-20. (In Russian)
- Tishkov, V. A. (Eds.) (1985). Introduction. In V. A. Tishkov (Eds.) *Historical destinies of American Indians. Problems of Indian Studies* (pp. 3-9). Moscow: Publishing house "Science". (In Russian)
- Tishkov, V. A. (Eds.) (1985). *Historical destinies of American Indians. Problems of Indian Studies*. Moscow: Publishing house "Science". (In Russian)
- Tishkov, V. A. (Eds.) (1988). *Ecology of American Indians and Eskimos. Problems of Indian Studies*. Moscow: Publishing house "Science". (In Russian)
- Tishkov, V. A. (Eds.) (1992). *America after Columbus: the interaction of two worlds. Problems of Indian Studies*. Moscow: Publishing house "Science". (In Russian)
- Tishkov, V. A. (Eds.) (1996). *American Indians: New Facts and Interpretations. Problems of Indian Studies*. Moscow: Publishing house "Science". (In Russian)



<https://jfs.today> & <http://frontierstudies.com>

По всем вопросам сотрудничества и публикации материалов обращаться по e-mail:

editorialboard.jsf@jfs.today or editorialboard.jsf@gmail.com

Телефон: +7 (988) 068-63-72



Это сетевое издание доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](#).

Вёрстка: Гончаренко Юрий Дмитриевич

© 2016 Журнал Фронтирных Исследований. e-ISSN: 2500-0225

In case you have any questions about co-operation please write an e-mail the following address:

editorialboard.jsf@jfs.today or editorialboard.jsf@gmail.com

Phone: +7 (988) 068-63-72



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](#)

Typesetter: Yuri D. Goncharenko.

© 2016 Journal of Frontier Studies. e-ISSN: 2500-0225